

Академия наук СССР
Институт русского языка

Русская речь

6 НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
1990

МОСКВА "НАУКА"

Научно – популярный журнал

Издается с января 1967 г.

Выходит 6 раз в год

В НОМЕРЕ:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

-
- 3 *В. Ю. Троицкий. Уроки словесности* ©
-
- ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**
- 10 *К 150-летию со дня рождения А. Н. Апухтина*
Р. В. Иезуитова. «Звезда разрозненной плеяды» ©
- 15 *Т. Я. Бочковская. «Так как я пишу вещи необыч-*
ные...» (Сравнения в романе А. Грипа «Бегущая по
волнам») ©
- 19 *Л. Л. Бельская. Загадочный образ* ©
- 22 *Н. П. Кабанова. Стилистические особенности «Вос-*
поминаний» Л. Разгона ©

АНТОЛОГИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

- 27 *Дмитрий Сухарев* ©

ПИСАТЕЛЬ И СЛОВО

- 33 *А. И. Солженицын. Русский словарь языкового рас-*
ширения ©

ИЗ НАСЛЕДИЯ ЯЗЫКОВЕДА

- 40 *В. В. Виноградов. Значение А. С. Пушкина в исто-*
рии русского литературного языка и в истории сти-
лей русской художественной литературы ©

КУЛЬТУРА РЕЧИ

- 48 *А. С. Дерябина. Сливовый и сливовый* ©
- 52 *Н. П. Колесников. Кое-что о псевдоомонимах* ©
-

-
- ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ
- 55 Л. Л. Касаткин. Александр Александрович Реформатский ©
-
- ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ
- 63 О. Н. Трубачев. В поисках единства ©
- 74 М. В. Горбаневский. «На Покровке я молился...» ©
- 83 Е. М. Верещагин. «Русская Библия» Франциска Скорины ©
-
- НА КАРТЕ РОДИНЫ
- 91 А. Ф. Роголев. Мозырь — столица Полесья ©
-
- ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛКЛОРА
- 96 Т. М. Шихова. Купить kota в мешке ©
-
- ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
- 101 Ж. Ж. Варбот. Копчик ©
- 104 В. В. Касаркин. Апокалипсис ©
-
- СЛОВО МОЛОДОМУ ЛИНГВИСТУ
- 108 Ю. В. Архангельская. О формировании символа в стихах А. Блока ©
- 113 С. Ю. Дубровина. Заячья капуста, ушки и лапки... ©
-
- СРЕДИ КНИГ
- 119 Хрестоматия по истории русского языка
-
- 121 Живая речь уральского города
-
- 122 Страница новых слов
-
- 123 Указатель статей, опубликованных в журнале «Русская речь» в 1990 году
-

Обложка выполнена Е. Чукиновой



Уроки словесности

В. Ю. Троицкий,
доктор филологических наук

Родной язык так сросся с личностью
каждого, что учить оному значит вместе и
развивать духовные способности учащегося.

Ф. И. Буслаев

В наше трудное время теряются и тонут в злокачестве много-
словия и многоголосице мнений запечатленные в речи вечные и
высокие истины; мы зачастую не в состоянии осознать то, что слы-
шим, а иногда и то, что говорим сами. В такое время, когда с лег-
костью произносят все, что угодно, — заметно слабеет самая могу-
чая созидательная сила, которой когда-либо владели люди —
действенное человеческое слово. Читая нынешнюю массовую бел-
летрастику, наблюдаешь, что литературный язык бледнеет, приоб-
ретает под пером писателей кокетливую невнятность или искус-
ственную претенциозность — несомненные признаки оскудения
духовного начала. Может быть, именно потому наше общество
остро нуждается в *уроках словесности*, которые помогли бы каж-
дому вернуть утраченную способность подлинной истинно-природ-
ной речи, возвратить произносимому и слышимому слову его ис-
тинный смысл, значение и вес. И может быть, один из самых пер-
вых уроков, который дает нам действительность, состоит в том, что
со словом нужно обращаться ответственно и честно: без этого по-

возможно никакое движение вперед, никакая перестройка, никакое духовное возрождение. Навыки же достойного обращения со словом закладываются в детстве, в молодости, на школьной скамье, наконец, в повседневном общении...

Не пора ли нам понять, что *любое* человеческое слово не уходит бесследно, но оставляет в мире или темный или светлый отблеск, либо губит окружающее, либо врачует нас. Не пора ли понять, что все беды в конечном счете связаны с тем, что в наше окружение попадает гнилое, темное слово...

Едва ли не самая драматическая утрата нашей школы в том, что из нее исчез *учитель словесности*. Есть преподаватели литературы, русского языка, истории, биологии, математики, географии..., но словесник ныне — явление редчайшее. И не потому ли так заметно стало распространяться в школе духовное оскудение, что словесность как некое *единство*, всегда бывшее, по словам Ф. И. Буслаева, «мерилом того духовного развития, которого в данную эпоху достиг народ на пути общечеловеческого совершенствования», словесность как открытие в слове и через слово существенного и необходимого «для нравственного бытия и отдельного человека и целого народа» — распалась на практически плохо соединенные друг с другом предметы.

С тех пор как изучение языка свелось по преимуществу к овладению орфографией и пунктуацией, а развитие живой речи, основанное на чувстве слова и ощущении его красоты, мелодичности, на восприимчивости чувственных ассоциаций, различных смысловых оттенков, исторических значений и символики — стало направляться лишь к малозначащим стилистическим упражнениям; с тех пор как литературу начали по преимуществу «проходить», основываясь на пересказе сюжета, на вульгаризаторском толковании социальных и нравственных конфликтов произведения, не пытаясь сокровенного смысла у слов, найденных художником, не стремясь ощутить и понять симфонического целого, составленного ими, — родной язык терял у подростков возникающую в детстве привлекательность, и все более росло (и растет) непонимание искусства, усиливается эстетическая глухота среди учителей и школьников, гаснет живой интерес к литературе. Она все чаще начинает восприниматься ими как что-то прикладное, служащее лишь дидактическим примером или складом подсобной информации.

Да и можно ли проникнуть в мир художника без способности и умения по-человечески *чувствовать слово, думать над словом*, искать и находить в нем его истинный смысл и пафос, без навыков выражать себя в речи, без обретения способности *жить в слове*.

Только вслед за тем с помощью речи, вновь обретенной, мож-

но будет успешно и полноценно постигать произведения классиков художественной литературы. Эту задачу также не решить без уроков словесности. А учителю, если он не хочет быть ремесленником, необходимо придется основательно, «собственной наглядкой» (И. Срезневский) уразуметь коренные законы языка, строй живой речи, потребуется изучать историю, быт и искусство народа-языкотворца, сокровенные черты его национального характера, взглядов и настроений, его мышления. «Ибо язык все (...) Язык не есть только говор, речь: язык есть образ всего внутреннего человека: его ума, того, что называется сердцем, он выразитель воспитания, всех сил умственных и нравственных...» (И. А. Гончаров. Письмо Е. Н. Нарышкиной 18 февраля 1877 // Литературное наследство. Т. 87. М., 1977. С. 15). Здесь начало постижения народности и патриотизма. В речи, усвоенной с младых ногтей, и в классических произведениях отечественной литературы «слова как бы имеют двойной художественный смысл — и сегодняшний, и тот, воспитанный с детских лет, эмоциональный, слова (...) на вкус, на взгляд и на запах — родные...» (А. Н. Толстой. К молодым писателям // Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 13. С. 415). Без сокровенного ощущения всего этого — нет уроков словесности.

Нужны немалые усилия, нужен талант, чтобы не быть рабом языка, но всегда оставаться его благоговейным хозяином, свободно открывать несметные его богатства, усваивать душою его самобытную народность, обладать чутьем языка, требующим эмоциональной культуры и свободы мышления. «...Где нет свободы мышления, там нет и действия ума. Конечно, необходим и навык, но подчиненный уму, навык — не как мертвая привычка, а как живое умение» (И. И. Срезневский. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте // Сб. Русское слово. Избранные труды. М., 1986. С. 111). «Разве можно узнать и понять, когда спит чувство, когда не волнуется сердце, когда нет каких-то чудных, каких-то неуловимых обширных фантазий. Говорят, одним разумом можно все постигнуть. Не верьте, не верьте! Те, которые говорят так, не знают, что такое разум (...), — писал наш выдающийся мыслитель и ученый В. И. Вернадский (Страницы автобиографии. М. «Наука», 1981. С. 93). И был бесконечно прав.

Уроки словесности — это прежде всего проповедь истинного слова и слова истины. Отсюда проистекает для учителя словесности профессиональная необходимость высокой образованности, несомненной честности и способности мастерски владеть речью, чтобы иметь возможность передать мысль и чувство в их глубинно-звонкой чистоте. «Мало зажить искренним чувством, — писал К. С. Станиславский, — надо уметь его выявить, воплотить. Для этого дол-

жен быть подготовлен и развит физический аппарат. Под физическим аппаратом мы подразумеваем хорошо развитую интонационную фразу, гибкое тело, выразительные движения, мимику». Все это практически важно.

Не вина, а беда наших учителей в том, что им нелегко получить необходимого образования: в программах филологических факультетов пединституты и университеты нет таких важных дисциплин, как анализ художественного текста, искусствоведение, этика, мастерство художественного чтения (с постановкой голоса и элементами выразительных жестов) и т. п. В отрыве от задач педагогического образования преподаются история языка, этимология. Все эти предметы, поданные верно, так необходимы учителю словесности! Ведь «творения поэта ценимы одним образовательным вкусом (...) — замечал наш великий поэт В. А. Жуковский. — Без некоторой особенной готовности, без некоторого приобретенного навыка размышлять и пленяться изящным, — не можем пользоваться дарами ума и искусства» (В. А. Жуковский. Письма из уезда к издателю // Эстетика и критика. М., 1985. С. 162). А для того, чтобы воспитать этот навык, нужно для начала осознавать, что его нельзя приобрести без серьезных знаний, напряжения ума и развития внутреннего зрения, отзывчивости, наконец, без любви к человеку, ибо истинное искусство всегда гуманистично, всегда высокоправдиво. Не потому ли так обаятельны известные нам учителя-словесники, люди большой души, великого притяжения, высокого профессионализма?

И впрямь, если оглянуться назад, — нам есть чему удивляться, у кого учиться, есть, чем гордиться. Среди учителей словесности — В. А. Жуковский (1783–1852), всемирно известный академик Ф. И. Буслаев (1818–1897), автор и ныне не потерявшей значения книги «О преподавании отечественного языка»; выдающийся революционер-демократ, критик и писатель Н. Г. Чернышевский (1828–1889), оставивший самые светлые воспоминания среди своих учеников Саратовской гимназии совершенно новым для своего времени творческим подходом к изучению литературы; литературовед и методист В. И. Водовозов (1825–1886), убежденный в том, что «родной язык... должен служить главным проводником образования»; В. Я. Стоюнин (1826–1888), призывавший учителей-словесников «не терять из виду главной цели — эстетического развития», воспитывать творчески мыслящих людей, умеющих проникать в суть произведения через «поэтический язык, рассматривая поэтические образы в отношении мысли и формы»; преподаватель московской 4-й гимназии, полиглот, автор Этимологического словаря русского языка А. Преображенский; преподаватель I кадет-

ского корпуса академик Л. В. Щерба (1880–1944); известный фольклорист, профессор М. А. Рыбникова (1885–1942), утверждавшая всей своей педагогической работой в школе «художественную выразительность слова» и «широкую культуру словесника»; владевший одиннадцатью языками, разносторонне образованный Н. В. Чехов (1865–1947), считавший основой воспитания чувство национальности, придававший огромное значение урокам литературы.

Лишь одухотворенные чувством любви к родному слову могут найти достойный путь к сокровищам литературы, к подлинному человековедению. Но нелегок этот путь! «Воспринимать искусство, может быть, столь же трудно, как и творить его» (А. Н. Толстой. Писатель — критик — читатель // Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 13. С. 297). И самым надежным проводником школьника на этом пути должен быть учитель словесности.

Его цель — научить читать художественные произведения, помочь вслушаться в ритм и музыку слов и фраз, интонацию и скрытый подтекст диалога, наслаждаться вдумчивым медленным чтением, соразмывать и сопереживать героям, вникать в смысл поэтической детали, зримо воображать художественный мир произведения. Он должен научить читать так, чтобы слова писателя получали в сознании школьника верный исторический смысл и полноту эмоционального содержания.

Как важно понять, что все это возможно тогда, когда учитель-словесник сумеет пробудить и развивать через слово несловесные виды художественного восприятия и мышления. Его ученикам предстоит еще научиться *воображать*, открывая и создавая в себе с помощью слова зримый, слышимый и осязаемый мир образов, предстоит научиться *по-человечески чувствовать и со-чувствовать*, размышлять и *со-размышлять*...

Тут встает еще одна труднейшая профессиональная задача, которую, как правило, не может преодолеть заурядный преподаватель литературы: создать эмоционально-творческую атмосферу для восприятия художественного образа, сделать так, чтобы ученик, чутко воспринимая слово писателя, был способен сам войти в мир художественного произведения, увлечься им. Это требует от словесника очень многих качеств, выходящих за пределы чисто филологических знаний: и педагогического мастерства, и культуры чувств, и артистической способности заново переживать читаемое.

Для *урока словесности* остается вполне справедливым то, что говорил К. С. Станиславский об условиях артистической работы, считая, что слово может обрести и выявить (передать) страсть, благородство, высшую ценность «только в атмосфере простой и лег-

кой», и актер (также и учитель словесности) должен сам научиться «искать в себе понимание ценности слова» (К. С. Станиславский. Беседа вторая // Беседы К. С. Станиславского в студии Большого театра в 1918—1922 гг. М., 1952. С. 28, 29). Речь идет, разумеется, не о той пустопорожней легкости, в которой нет места творческому напряжению читательского чувства и ума, внутреннего зрения и слуха, но лишь об отсутствии насилия над учеником, об умении найти для каждого из входящих в художественный мир писателя, — особенный, соответствующий его натуре путь постижения содержания. Только всей системой словесно-художественного воздействия воспитываются зачатки эстетического отношения к миру и через преодоление импульсивных ощущений и неорганизованности мысли формируется подлинно человеческая гамма чувств.

Не будем забывать об истории. Настоящий учитель словесности в сущности всегда историк и к тому же историк языка. Чтобы раскрыть содержание художественного произведения, мысль глубоко думающего читателя неизменно и пытливо обращается к меняющимся историческим значениям слова. Нужно помнить, что иные слова мы понимаем совсем не так, как понимал их автор и по-иному представляем себе то, что ими передается. «Вот хотя бы слово „лес“... — писал известный ученый Н. А. Морозов, — у якута оно вызывает представление о скоплении в одной какой-то местности хвойных деревьев, у египтянина и арабийца — о скоплении пальм, у итальянца — дубов и других лиственных деревьев. Все это — представления совершенно различные, а потому... если вы хотите, чтобы у читателя возникал при чтении слова «лес» тот же образ, какой был у автора данного рассказа, то вы должны говорить определенительно» (Н. А. Морозов. Христос. Небесные вехи земной истории человечества. Кн. I. М., Л. Изд. второе. 1924. С. III).

Но всякий грамотный филолог знает: определенность общей семантики слова, даже с учетом его значения в тексте, — это лишь предпосылки для постижения того значения, которое обретает оно в цельном художественном произведении, воплощаясь в художественном мире, созданном автором. И, пожалуй, самая трудная задача, стоящая перед учителем словесности, — научить понимать, что художественный смысл произведения «растворен» во всем его объеме. А значит смысл любого слова, любого словесного образа может быть прояснен только тогда, когда оно, это слово (или словесный образ), подключено к энергетической сети всего художественного произведения. И если посредственный учитель литературы способен дойти до анализа художественных деталей и частей литературного произведения, то учитель словесности — сумеет преподать литературное произведение в художественной полноте. Тог-

да каждое слово-образ, каждая деталь, подключенная как бы к энергосети художественного целого, загорится ярким светом, осветит изнутри сокровища всего поэтического создания, и произведение предстанет перед читателем во всей художественной полноте. Тогда, если мы имеем дело с подлинно художественным произведением, обнаружится, что «в каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт» (Н. Гоголь. Несколько слов о Пушкине // Н. В. Гоголь о литературе. М., 1982. С. 451).

Такое постижение литературы – есть подлинное просветление ума, воспитание души, воспитание личности и движение к высотам человеческого духа, в начале которого было, есть и будет живое как жизнь человеческое слово. И в этом высокий смысл и значение уроков словесности.

К 150-летию со дня рождения А. Н. Апухтина

«Звезда разрозненной плеяды»

Р. В. Иезуитова,
кандидат филологических наук

Проникновенный лирик, вдохновивший многих русских композиторов на создание замечательных романсов, тонкий знаток и ценитель мировой и русской классики, превосходный переводчик, блестящий стилист, неподражаемый исполнитель собственных произведений — таким предстает перед нами Алексей Николаевич Апухтин (1840–1893). Он принадлежал к числу поэтов истинных, что называется «божией милостью» (так, кстати сказать, и называли его современники), но что, пожалуй, самое главное — поэтов подлинно русских. Близко знавший А. Н. Апухтина Модест Чайковский вспоминал: «Русская природа, русские люди, русское искусство и русская история составляли для него основной, можно сказать, исключительный интерес существования».

А. Н. Апухтин родился и провел детские годы в центре России, в калужском имении отца, носящем поэтическое название Павлодар. К сожалению, биографические сведения о его родителях очень скудны, между тем они могли бы пролить свет на ту культурную атмосферу, в которой формировались талант и литературные вкусы юного Апухтина. Впрочем, самое важное нам все же известно: по общему мнению друзей дома семейства Апухтиных, роль матери в становлении личности и духовного облика будущего поэта была исключительной. Потеряв мать в ранней юности, Апухтин пронес через всю жизнь благоговейное отношение к ее памяти.

Об отце поэта нам известно немногим более: дослужившись до чина майора, Николай Федорович Апухтин в сравнительно молодом возрасте вышел в отставку, мотивируя свое решение «домашними обстоятельствами». Начало же его военной службы пришлось на двадцатые годы XIX века, которые были временем глубоких внутренних брожений в русской армии, затронутой декабристским влиянием. Едва ли отец поэта мог оставаться совсем в стороне от тех настроений, которыми жила тогда офицерская среда. Яркая личность матери Апухтина — Марии Андреевны (урожденной Желябужской) — позволяет усмотреть и в ее избраннике черты человека мыслящего, образованного, близкого ей ду-

ховно. Все эти обстоятельства позволяют думать, что семейная обстановка благотворно сказалась на развитии поэтических наклонностей А. Н. Апухтина.

Страстно увлеченная русской поэзией, Мария Андреевна привила эту любовь и сыну. Надо полагать, что именно матери Апухтин в первую очередь обязан тем пылким и неизменным отношением к А. С. Пушкину, который, по свидетельству Модеста Чайковского, на протяжении всей жизни был для него «возвышенным идеалом», настоящим кумиром, но не идолом, а живым человеком. Но в живых Пушкина юный Апухтин не застал: он родился спустя три года после гибели поэта. Оказавшись младшим современником хорошо знавших великого поэта людей, Апухтин имел возможность встречаться и беседовать с некоторыми из них. Например, с П. А. Вяземским, живым хранителем литературных традиций и преданий пушкинских времен.

В 1852 году Апухтин поступает в петербургское Училище правоведения, в которое принимали лишь детей из родовитых дворянских семейств, ибо это закрытое учебное заведение готовило чиновников на высокие должности в министерстве юстиции. Здесь Апухтин близко сошелся с будущим великим композитором П. И. Чайковским, а через него познакомился и подружился с его братом Модестом, впоследствии своим биографом. Еще дома и с новой силой в Петербурге им овладевает страсть к сочинительству. Оторванный от привычной домашней среды, разлученный на долгие годы со своими близкими, он писал:

Далёко от тебя, о родина святая,
Уж целый год я жил в краях страны чужой
И часто о тебе грустил, вспоминая
Покой и счастье минувшее с тобой.

Автору этих строк едва минуло 13 лет, и его первые стихотворные опыты носят еще подражательный характер, хотя и позволяют увидеть, на какие литературные образцы ориентируется начинающий поэт. В его детских стихах звучат мотивы Пушкина и Жуковского, Лермонтова и Кольцова. Воссоздавая в музыкальных, гармоничных напевах светлый мир своего детства, красоту открывающегося ему родного края, Апухтин осваивает лучшие традиции русской лирики пушкинской поры. Он входит в поэзию со своей темой — темой родины, которая звучит в его стихах как глубоко личная, проникновенно-лирическая. Родина всегда оставалась для Апухтина желанным «пределом», куда стремится душа поэта и где она обретает всю полноту бытия. Образ дороги, пересекающей бескрайние просторы России — один из наиболее устой-

чивых, «апухтинских» образов-символов. Разнообразные и пестрые путевые впечатления, необычные происшествия, свидетелями которых часто становятся герои его стихов, порождают прихотливые полеты творческой фантазии и не менее причудливые поэтические ритмы. Герой Апухтина в постоянном движении, он как бы на перепутьи своей жизненной судьбы, когда грустные думы о прошлом перемежаются с тревожными размышлениями о будущих испытаниях и бедах.

Предчувствием грядущих перемен пронизаны стихи цикла «Деревенские очерки», которыми в 1859 году молодой поэт дебютировал в Некрасовском «Современнике». Это был самый канун столь долго ожидаемых реформ, надеждами на которые жила тогда вся передовая русская литература. Апухтин воссоздает картины крестьянской, деревенской России накануне отмены крепостного права. Это картины затишья перед бурей, проникнутые болью за народ. Казалось, в литературу явился новый Некрасов, поэт гражданского направления. Такого рода надежды вызвала публикация «Деревенских очерков» в демократически настроенных кругах русского общества. Стихи Апухтина одобрил сам Н. А. Некрасов. Однако поэтом революционно-демократического направления Апухтин не стал, его дальнейшая творческая деятельность пошла по совершенно иному руслу, о чем свидетельствуют резко публицистические, программные стихи «Современным витиям», которыми поэт откликнулся на ситуацию 1861 года. В них поэт отмежевался и от революционных демократов, не принявших проводимых сверху реформ, и от поддерживавших эти реформы либералов-постепеновцев. Он оказался вне двух враждующих лагерей, противопоставив витийствующим демагогам подлинные ценности бытия:

Посреди гнетущих и послушных,
Посреди злодеев и рабов,
Я устал от ваших фраз бездушных,
От дрожащих ненавистью слов!
Мне противно лгать и лицемерить,
Нестерпимо — отрицаньем жить...
Я хочу во что-нибудь да верить,
Что-нибудь всем сердцем полюбить!

Стихи, возмущившие тогда революционную демократию и даже вызвавшие пародию знаменитого «искровца» Д. Д. Минаева, воспринимаются сегодня как крик души, разуверившейся в способности ораторствующих демагогов вывести страну из тупика...

С этого момента пути Апухтина и его прежних литературных покровителей резко разошлись. У поэта хватило мужества пойти

против течения, не примкнув при этом ни к одной из враждующих группировок. Он выбрал для себя путь поэта-одиночки, остался верен своему предназначению художника.

Нечто подобное, хотя, разумеется, и в иных масштабах и в совершенно других исторических условиях, произошло и с А. С. Пушкиным, который вынужден был защищать свое право быть поэтом прежде всего. Отвечая на наскоки реакционной критики, упрекавшей его в «отставании» от прогресса, Пушкин писал: «(Если) Век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, — то поэзия остается на одном месте, не старе(е)т и не изменя(е)тся. Цель ее одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной Астрономии, Физики, Медицины и Философии состарились и каждый день заменяются другими — произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны» (Пушкин. Полн. собр. соч. М.—Л., 1937. Т. VI. С. 540—541). Пушкин объяснял эту способность поэзии следовать по избранному пути тем, что предметом ее является «душа человеческая с ее волнениями и страстями», неизменными при всем разнообразии происходящих в мире перемен. Только в последнее время мы смогли осознать колоссальное значение так называемых «общечеловеческих ценностей». Апухтин же сумел сделать их главным содержанием своего творчества, не ограничивая его рамками никакой политической или эстетической доктрины. В этом глубочайшее своеобразие его позиции, отличающей и от гражданского «утилитаризма» демократов, и от эстетствующих поэтов «чистого искусства». Он не ставит свою Музу на службу социальным нуждам (хотя в конечном счете касается и этих актуальнейших для России вопросов), но и не стремится, как это может показаться на первый взгляд, уйти от реальности в мир гармонии и красоты.

Душа поэта, ее внутреннее состояние, ее влечения и гнетущие ее заботы — вот главное содержание стихов Апухтина. Он не торопится их печатать, предать на суд широкой публики, довольствуясь поначалу обществом друзей и любителей поэзии. Но несмотря на демонстративный отказ от участия в литературной жизни, Апухтин-поэт начинает привлекать внимание своих современников. Широкую известность приобретают такие шедевры его лирики, как «Ночи безумные, ночи бессонные...», «Пара гнедых», «День ли царит, тишина ли ночная...», «Цыганская песня», «Ответ на письмо», «Люби, всегда люби! Пускай в мученьях тайных...». В них с большим психологическим мастерством воссозданы предельные душевные состояния, страсти, сотрясающие его героев и

толкающие их на удивительные, необычные поступки. Поэт обращается и к забытой с пушкинских времен жанровой форме романа. Он как бы заново создает этот жанр, лишая его условности, некоторой облегченности в выражении чувств и превращая его в емкую форму для передачи напряженных и пламенных эмоций. Романсы Апухтина отмечены ярким своеобразием, первозданностью. Поэт никому не подражает, напротив того, ему начинают подражать, перекладывать его стихи на музыку.

Последний период творчества поэта, приходящийся на 1880-е — начало 1890-х гг., отмечен резким поворотом к современности: в его «сюжетных» стихотворениях (маленьких новеллах в стихах), в поэмах и повестях идет процесс «осовременивания» прежних ситуаций. Апухтин переносит действие с привольных просторов деревенской Руси в тесные рамки городского существования, в больничную палату, комнату судебных заседаний, на перрон, в залу ожидания. На фоне этих примет наступающей на человека цивилизации разыгрываются вечные драмы неразделенной любви, ревности, смерти, долгой разлуки. Апухтин выбирает для своих произведений ситуации острые, кризисные («Из бумаг прокурора», «Перед операцией»). Эти стихи — исповедь перед смертью, когда человек раскрывает до конца свою душу, все тающееся в глубинах подсознания. Знаменитая поэма «Сумасшедший» (с песней «Все васильки, васильки...», ставшей народной) обошла все российские эстрады. В 1880-е годы имя Апухтина известно всей культурной России. Его стихи проникают в читательское сознание какими-то новыми, невиданными ранее путями: звучат в концертах, на музыкальных вечерах, распространяются в списках, распеваются в семейном и дружеском кругу. Уступая настояниям друзей, Апухтин решился, наконец, на издание сборника своих стихотворений, выход которого из печати в 1886 году стал событием культурной жизни. Сборник, подведший итоги более чем тридцатилетней деятельности, имел большой читательский успех. Так, само время подтвердило правоту Апухтина-поэта, избравшего верный путь в творчестве.

Один из последних в России романтиков пушкинской ориентации, А. Н. Апухтин сделал достоянием литературы своего времени далеко не исчерпавшие себя и жизнеспособные творческие начала пушкинской поэзии, обогатил русскую лирику высоким художническим элементом и глубиной постижения ценностей человеческого бытия.

Ленинград



Сравнения в романе А. Грина «Бегущая по волнам»

Т. Я. Бочковская

Если внимательно приглядеться к использованию тропов в «Бегущей по волнам» Александра Грина (1880–1932), то можно обнаружить, что сравнения – наиболее часто употребляемое писателем художественное средство. Предпочтение, отдаваемое Грином сравнениям, нельзя объяснить случайностью или тем, что сравнение, по замечанию Л. Тимофеева, «является простейшим, первичным видом тропа». (Тимофеев Л. Основы теории литературы. М., 1966. С. 213). Останавливая свой выбор на том или ином сравнении, писатель преследовал определенные творческие цели.

«Так как я пишу вещи необычные, то тем строже, глубже, внимательнее и логичнее я должен продумывать внутренний ход всего. Фантазия требует строгости и логики. Я менее свободен, чем какой-либо бытописатель<...>» – говорил Грин (Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972. С. 353). Иными словами, стремясь быть

понятым и принятым своим читателем, Грин особенно тщательно подходил к отбору художественных средств изображений.

Сравнения, вводимые писателем в повествовательную ткань «Бегущей», как правило, образны и точны. Например: «День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой»; Гарвей «навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз»; «...неизвестно где находящаяся Дези была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом» (Грин А. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 5; далее цитируется это издание). Обратим внимание, что подобные сравнения рассчитаны на знакомые читателю ощущения, его чувственный опыт: волны горячего воздуха от раскаленной плиты, прохлада компресса, теплое дружеское рукопожатие. Писатель здесь переключает читательское внимание из сферы вещественной конкретики в область чувственного восприятия окружающей действительности.

В других случаях Грину удастся сделать зримым и осязаемым явление нереальное, фантастическое. Вспомним Фрези Грант, девушку-мечту, миф, легенду. Вспомним эпизод ее загадочного появления в лодке Гарвея, покинутого капитаном Гезом в открытом море. Таинственная незнакомка, уходя от Гарвея, могла бы просто растаять, испариться, исчезнуть, как бесплотное создание больного и потрясенного воображения, но она, покидая лодку, «приподняв руку, всматривалась, как если бы уходила от постели уснувшего человека, опасаясь разбудить его неосторожным движением». Сравнение из ряда обычных, обиходных, узнаваемых житейских ситуаций делает девушку-легенду зримой, невыдуманно существующей. И когда затем читатель вместе с Гарвеем видит, «как быстро и легко она бежит прочь, — совсем как девушка в темной, огромной зале», он почти забывает о невозможности бежать по гребням волн, но не забывает об этом писатель, выявляя в эпизоде единство мечты и реальности.

На протяжении нескольких страниц романа писателю дважды понадобилось передать ощущение, какое возникает от встречи с неожиданным. Обе ситуации связаны с «Бегущей по волнам». В первом случае Гарвей в наступившей тишине неожиданно слышит невесть откуда взявшийся женский голос: «...Бегущая по волнам». Чувства потрясенного героя автор передает сравнением: «Это было, как звонок ночью». В другой раз Гарвей, весь во власти голоса таинственной незнакомки, прогуливаясь бесцельно по почной гавани, вдруг видит на борту парусника те же, лишившие его покоя удивительные слова — «Бегущая по волнам», и это произошло так внезапно, «как если человек схвачен сзади». До-

полнительный оттенок «беспомощной растерянности», которым наделено это сравнение, точно передает состояние героя, его изумление и радость.

Но сравнения у Грина не так просты, как может показаться с первого взгляда. Если одни из них рассчитаны на знакомые ощущения, известный житейский опыт, помогающий читателю войти в «страну воображения», то другие уже требуют от него умения размышлять, домысливать прочитанное. Вот Грин пишет о Гарвее, попавшем в круговерть карнавала: он «был затерян, как камень, упавший в воду». Параллель «человек в толпе — камень в воде» держит в фокусе читательского внимания картину одиночества и затерянности гриновского героя в толпе, поглощенности множеством себе подобных. Но глубинный смысл сравнения в другом: Гарвей чужд веселящейся карнавальной толпе, он в ней сам по себе, не растворяется в ней, как камень в воде.

Неоднозначность избираемых Грипом сравнений подтверждает эпизод расследования обстоятельств гибели капитана Геза. Писатель с протокольной сухостью изображает позу, вид убитого, словно речь идет о случайном, рядовом событии. «Он лежал на спине, у стола, посредине комнаты, наискось к входу.(...) Растекшаяся по лицу и полу кровь не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул». В одном ряду лицо убитого и пол (*растекшаяся по лицу и полу кровь*), подчеркнуто снижающая описание деталь: кровь, как лужа, отражает соседний стул. Банальная для описания такого эпизода *лужа крови* подана в форме сравнения *кровь, как лужа*, содержащего в себе нравственную оценку убитого капитана Геза.

Интересный материал для анализа творческой манеры писателя, его поэтики дают наблюдения над функцией сравнений в этом романе. С их помощью обрисованы портреты героев, их характеры, дана оценка их поступков. Вот как передается сложный, противоречивый характер капитана Геза. «Его флегма исчезла, — пишет Грин, — как взвившаяся от ветра занавеска». При максимальной экономии словесного материала переданы быстрота и неожиданность духовной перемены в человеке и одновременно дана характеристика человека двойственной натуры: флегма, как занавес, скрывала его суть. Гез выходит из каюты, «наклонив голову, как если бы боялся стукнуться лбом», спрашивает, «медленно произнося(...) слова и как бы рассматривая их перед собой», настраиваясь играть на скрипке, задумчиво рассматривает Гарвея, как если бы тот «был потным листом», в бешенстве от неудачи кинулся на Бутлера, «как отраженный от стены мяч».

Характеризующие Геза сравнения рисуют натуру переменчи-

вую, неожиданную. Это особенно рельефно просматривается при сопоставлении средств, с помощью которых создается образ Биче Сениэль: ясный, цельный, спокойно уверенный, холодноватый. В толпе людей «суетного, рвущего день на клочки мира», Биче воспринимается как «благоклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса».

Гриновские сравнения, создающие образ того или иного героя, передают и впечатление, какое он оказывает на других, намечают восприятие его окружающими, формируют отношение к нему читателя. Так, Гарвей для доктора Филатра, человека практичного и трезвого ума, был «словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом». Искренняя, простая сердцем Дези ощущается Гарвеем, «как теплый ветер в лицо».

Показательны как средство индивидуальной характеристики сравнения, употребляемые в речи самих персонажей. Биче выражается пространно, образно, без затруднений: «Мне было не так весело, чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся на голову». Непосредственность Дези, ее детское простодушие прорывается в усеченной, но полной эмоций фразе, которой она пытается передать свою переполненность впечатлениями: «(...)хочется ходить так, чтобы не просыпать». В сцене расследования Бутлер, грубая и привычная к подобным ситуациям натура, обыденно объясняет полицейскому, что пистолет убитого Геза ему, Бутлеру, знаком, «как кофейник — повару».

Как ни у кого другого, у А. Грина языковые художественные средства служат целям оформления вымышленного. Его сравнения в «Бегущей по волнам» образны, многооттеночны, разнообразны по своим функциям, и, видимо, поэтому они столь сильно воздействуют на читателя, вызывая ощущения и ассоциации, помогающие проникнуть в авторский замысел. Гриновские сравнения корректируют полет фантазии, удерживают вымысел на расстоянии, доступном читателю.

Феодосия



Загадочный образ

Л. Л. Бельская,
доктор филологических наук

Есть у Сергея Есенина в поэме «Черный человек» странный, причудливый образ, вызывающий самые разноречивые толкования.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.

Одни интерпретаторы считают этот образ «логической бессмыслицей» (С. Злобин) и утверждают, что правильнее было бы сказать: «на ноге шеи» (Н. Асеев). Другие предлагают новое прочтение: вместо «ноги» — «ноги», в смысле «ноги на шее», как намек на «зловещую ношу» в духе Гоголя, словно кто-то «мертвой хваткой оседлал героя» (Субботин А. О поэзии и поэтике. Свердловск, 1979. С. 188). Третьи подозревают здесь какую-то неточность: то ли типографскую опечатку (не «ноги», а «почи», так как начертания букв *з* и *ч* в есенинских рукописях схожи — В. Вдовин. «Одна-единственная буква» // Литературная Россия. 1971. 14 мая), то ли авторскую опisku (Кошечкин С. Прозрение и мужество // В мире Есенина. М., 1986. С. 384). И, наконец, четвертые, не исправляя поэта, пробуют расшифровать эти строки, ссылаясь на есенинский образ человека-дерева, у которого «всё — нога и всё — шея» (Марченко А. Поэтический мир Есенина. М., 1972. С. 189). Кто же прав?

Начнем с того, что против некоторых интерпретаций восстает не только смысл, но и грамматика и ритм. Так, фраза «Ей на шее

но́ги маячить больше невмочь» грамматически неприемлема, требуются другие и падеж, и предлог: «Ей с ногами на шее маячить...», что, кстати, не повредило бы ритмическому строению. А вот против редакции В. Вдовина протестует ритм: уничтожается единство стихотворного ряда и необходимо иное членение строки — «Ей на шее / Ночи (когда?) маячить больше невмочь». В противном случае «механизм стиха» делает единственным возможным и обязательным вариант «Ей на шее (чего?) ночи / Маячить больше невмочь».

Во-вторых, «невообразимую» «шею ноги» вряд ли нужно связывать с образом дерева, что вносит несообразность и разногласию в есенинский текст (ведь речь идет о сравнении человека с птицей, при чем же тут дерево?) и разрушает цельность образных представлений: если голова — птица, а уши — крылья, то шею можно представить в виде ноги («вторая подобрана, или две видятся как одна», С. Кошечкин). Перед нами образ человека-птицы. Но, может, все-таки в автографе допущена описка, и надо внести поправку: взамен «на шее ноги» — «на шее-ноге», как предполагает С. Кошечкин?

Вдумаемся в это сочетание «шей» и «ногй». С логической точки зрения, оно абсурдно. Нет в нем и ничего метафорического, нет и объединения «далековатых понятий», а даны обозначения частей человеческого тела, то есть слова одного семантического круга. Но не будем торопиться с выводами, а вспомним излюбленные есенинские генитивные метафоры (сравнения-метафоры), в области которых поэт «представлен большим количеством своеобразных экспериментов» (Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979. С. 242): *головой парус, зубы дождей, молоко берез, рогожи стихов, костер рябины, души цветъ, зари коса*. В них «человеческое» начало преломляется через «природное» и «бытовое», а последние воспринимаются сквозь призму человеческих качеств и свойств (*головой кувшин, куст волос, весла рук, осень душ и руки берез, шея деревни, горло неба, череп луны, ноги трав*).

Так вот, как это ни парадоксально с первого взгляда, «шея ноги» относится ко второму метафорическому типу: «шея» принадлежит человеку, а «нога» — птице (ср. «кости крыл»). И исчезает «бессмыслица», и образ перестает быть непонятным: птичья нога напоминает человеческую шею, такая же тонкая и слабая, и потому держать голову-птицу ей неважноту. Правда, даже после такой разгадки образ остается алогичным и странным: словно перевертень-оборотень — сначала человек-птица, потом птица-человек. Что это имажинистская вычурность и эпатаж читателей? Или воплощение болезненного психического состояния героя, воображе-

ние которого и рождает фантасмагории: «осыпает мозги алкоголь», голова-птица с ушами-крыльями, с ногой-шеей и страшный призрак Черного человека? Его приход как раз и подготавливается ощущением невыносимой боли, «тоски и страха» и видениями затемненного, расщепленного сознания, в том числе и «шеей ноги» и «шипящим» звучанием последних слов, возвещающих о приближении жуткого привидения («маячить больше невмочь»). Вспомните офорты Гойи: «Сон разума (и добавим – боль души) рождает чудовищ».

Давайте же доверять поэтам и, прежде чем исправлять их опибки и описки, попытаемся понять авторский замысел и внимательно прочитаем каждое слово, каждую строчку.

Алма-Ата

Стилистические особенности «Воспоминаний» Л. Разгона

Н. П. Кабанова,
кандидат филологических наук

В последнее время достоянием широкого читателя стали «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, воспоминания Л. Разгона «Непридуманное» и другие произведения, опубликованные за прошедшие четыре года и объединенные некогда запрещенной темой сталинских репрессий.

Написанные значительно раньше, но увидевшие свет только сейчас, они, без сомнения, должны быть изучены и в литературоведческом, и в лингвостилистическом плане, так как, обретя, наконец, свое «законное» место в литературном процессе, они не могут не играть определенной роли в развитии современного русского литературного языка.

Обратимся к воспоминаниям Л. Разгона (Юность, 1988, № 5; 1989, № 1—2), имеющим некоторые жанровые и стилистические особенности, которые мы и рассмотрим в этой статье. Это художественно-публицистическое произведение автобиографического характера, состоящее из ряда относительно законченных (тематически и композиционно) рассказов, объединяющим началом в которых является сам автор как действующее лицо. Установка на «непридуманность», документальную достоверность задана с самого начала. Мир автора, его культура, та жизнь, которая была прервана арестом и пребыванием в лагере, — всему этому соответствует традиционный литературный язык, своими корнями уходящий в классическую русскую литературу. Этому миру и этой жизни противопоставлена другая жизнь, с присущими ей нормами поведения, бытом, собственным языком, который естественным образом включает в себя обширные пласты внелитературного характера. Здесь и тюремный жаргон (*пахан, блатной, параша, пайка, зона* и пр.), и своего рода историзмы, связанные в нашем представлении с жизнью и бытом определенной эпохи (*зек, оперодчик, стукач, агентурка, воронок*). Поскольку жаргонизмы относятся к словам с ограниченной сферой употребления, а языковой запас

и жизненный опыт предполагаемого круга читающих неодинаков, автор, как правило, объясняет их: «Но я видел юношей-подростков, главным образом из *осколков*, как поэтически-образно называли на Лубянке детей уничтожаемой партийно-государственной элиты»; «Окошко, которое у нас называется *кормушкой*, открывается, и в нем — незнакомое лицо»; «*Пребывать в законе* — означало: на работу выходить, но не работать, а только создавать видимость»; «А когда я пришел в себя, раскрыл передо мною роскошную перспективу стать *лепилой* — медицинским работником»; «Но арестант, которого я *кнацал*, то есть которому я покровительствовал, был особый, выделялся из них».

В ряде случаев писатель помещает жаргонизм в такой контекст, который проясняет значение слова: «Заливу... окружали разных званий *вертуханы*: начальник охраны, *опер*, начальник санчасти, начальник КВЧ»; «...Королев и в самом зените своей славы любил собирать у себя, на своей огромной даче, за богачейшими разносолами обильного стола старых товарищей по тюрьме, по ту-полевской *шарашке*»; «...большинство же зеков были мужиками, а не *блатняками*». Помогают и ассоциативные связи жаргонного слова с однокоренными словами как в тексте, так и вне его: «...Кого расстреливали, а кому давали новые срока и отправляли на *штрафняк* (от *штрафной*)»; «Жизнь *законников* (от *пребывать в законе*) в лагере была обставлена правилами поведения, которые соблюдались с истовостью почти религиозной», «...я не могу топтать ее за то, что ради свободы и детей она завербовалась и стала *стукачкой*»; «Может, это соседка в маминой квартире на Ордынке *стукнула*, что ходит сюда бывший лагерник...»

Используя экспрессивно-оценочную роль жаргонизмов, автор выражает свое отношение к описываемому, воздействует на восприятие читателя.

«Большинство этих денег отбиралось бригадирами, *паханами*, *законниками* и многими другими из разряда *пасущих*»; «Когда он был бригадиром, то его не слушались даже самые последние лагерные *шакалы*»; «Он не только ни за кого не заступался, но мелко услуживал даже *оперодчикам*»; «Мальчики становились *шестерками* у паханов, у наиболее сильных, более обеспеченных»; «Лагерные *шалашовки*, побывавшие на штрафняке, рассказывали, что начальник штрафной жил с охраной душа в душу...»

В данных примерах читатель, не знающий точного значения слова, улавливает лишь некий общий смысл и экспрессивно-оценочную окраску: *пахан* — тот, кто занимает высшее место в лагерной иерархии; *шакал* — последнее место; *оперодчик* — визитный НКВД; *шестерка* — исполняющий волю сильных, человек на

побегушках. Далее, по ходу повествования, слова *шакал*, *оперодчик* объясняются, а слова *шестерка* и *шалашовка*, воспринимаемые в более широких контекстах, становятся понятными для читателя. Так, за предложением со словом *шалашовка* следует: «Лагерных жепщиц приводили туда [на «штрафняк»] мыть полы и развлекать конвоиров». Но, конечно, непосредственное воздействие на читателя оказывает в этих случаях не столько точное значение слова, сколько его стилистическая окраска. Она подчеркнута при этом различными тропами и стилистическими фигурами: эпитетами (последние лагерные шакалы; мелко услуживал даже оперодчикам; паханам (...)) и другими из разряда пассивных, синонимическим варьированием («Они [мальчики] были слугами, бессловесными рабами, холуями, шутами, наложниками, всем, кем угодно»).

Стилистически значимым, на наш взгляд, является и повторное употребление жаргонизма в тексте произведения.

Так, на протяжении повествования около 40 раз употреблено слово *зек* (аббревиатура от *з/к* — заключенный), один раз *з/к* и несколько раз *арестант*. Если мы проанализируем контекстно-речевые ситуации употребления, то увидим, что жаргонизм *зек*, несомненно, имеет свои стилистические особенности в преобладающем количестве случаев. Рассмотрим соотношение слов *арестант* — *зек*.

Первое из них книжное, употребляется применительно к *чужой действительности*, чужой как для персонажа-рассказчика, так и для нашего читателя: «А во Франции во время первой мировой войны освобождался (...) *арестант*, у которого сын погиб на фронте»; «[В Бразилии] *арестанты* живут в неплохих кельях, которые открыты днем и ночью» — в таких случаях вносится скрытая антитеза описываемой автором жизни советского заключенного. В других случаях слово *арестант* имеет самое общее значение, не связанное с пребыванием конкретного человека в конкретном лагере: «Костя был битый *арестант*, отлично понимал, что к чему» (общая характеристика человека). «... (Начальник лагеря) популярно объясняя потерпевшему, что водку положено пить ему, лейтенанту, а не *арестанту*» (арестанту вообще, любому).

Когда же Л. Разгон описывает реально пережитое: свою жизнь в лагере, близких и неблизких знакомых, отношения между заключенными, отношение *начальников* к заключенным — в его повествовании фигурирует слово *зек*: «Все выходные дни тоже отменили. И конечно, немедленно навели жесточайшую экономию в питании *зека*»; «Тарасюк (...) совершенно не стеснялся. И не только *зеков*, но и тех *вольняшек*, которые (...) мало чем от зе-

ков отличались»; «А поодаль сидели начальники из зеков: плановик, бухгалтер, нормировщик (...)»; «На этого зека я обратил внимание давно» и т. д. При подобном употреблении слова *зек* стилистически значимым становится тот факт, что оно дается автором как слово, обычное для описываемой среды, лишённое стилистической окраски. Потеря жаргонизмом экспрессивно-оценочного оттенка, превращение его в нейтральное, привычное слово, на наш взгляд, подчеркивает те катастрофические изменения в сознании говорящего и — что самое важное! — пишущего, которые вызваны жизнью в лагере.

Особенно заметна экспрессивно-стилистическая направленность при повторном употреблении жаргонных слов в изображении эпизодов жизни самого персонажа-повествователя. Так, при описании голодовки, объявленной Л. Разгоном, читаем: «И оставили меня в покое. Не водили на opravку, на прогулку, не приходили ко мне ни прокурор, ни *лепила*, ни даже сам начальник тюрьмы». Здесь по контексту в ряду однородных членов предложения вполне допустимо слово *врач*, но автор обращается к жаргонизму, обладающему резко неодобрительной эмоциональной окраской, имеющему семантический компонент «плохой врач». Если же учесть саму ситуацию, то появление врача должно быть наиболее естественным, но этого как раз и не происходит.

Подобное же экспрессивно-стилистическое употребление жаргонизма мы наблюдаем при выборе автором из синонимических пар *обыск* — *шмон*, *обыскивать* — *шмонать* — последних, внелитературных слов: «Меня выносит в тюремный коридор, в сторону, где *шмонают*, перебрасывают, переводят, сортируют»; «Когда я уходил из зоны, меня *шмонали* так, как никогда при аресте или этапе, — выполняли указание Намятова. Наверное, он был убежден, что увожу много денег». И особенно интересен пример внутренней речи (мыслей) персонажа-повествователя: «Значит, лишние деньги надо прятать так, чтобы их не нашли при *шмоне*». Даже наедине с самим собой автор предпочитает жаргонное слово общеупотребительному, подчеркивая невозможность их синонимизации (Подобный вывод уже имел место в лингвистической литературе. «Между *шмоном* и обыском — пропасть неизмеримо большая, чем обычное стилистическое различие. Шмон — это не просто обыск (...) Это узаконенное издевательство, мучительное и нравственно и физически». Винокур Т. Г. О языке и стиле повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». — В сб. Вопросы культуры речи. М., 1965, VI. С. 26) и включая тем самым жаргонизм в активный запас собственных экспрессивных литературных средств.

И, несомненно, собственно экспрессивными средствами жаргонные слова являются в составе тропов и стилистических фигур — сравнений: («Через неделю я — сам собой, как *настоящий вольняшка!* — вернулся па Второй лагпункт...»); «И разговаривал с ним [генералом] спокойно-равнодушно, как Тарасюк с *мелким вольняшкой*»; «...его жена в Краснодаре вела веселую жизнь, как *последняя лагерная шалашовка*»; синонимического варьирования: «Город был набит *топтунами, стукачами, оперативниками* — как они еще там называются!»).

Употребление жаргонной лексики в авторском повествовании Л. Разгона показывает, сколь сложно и в то же время органично связано предметно-тематическое содержание с экспрессивно-стилистическими особенностями текста. Ведь совершенно очевидным является то, что только в произведениях, посвященных этой печальной теме — пребыванию человека в тюрьме, на каторге, в лагере, — уместна и оправдана жаргонная лексика (которая употреблялась в свое время Ф. М. Достоевским в «Записках из мертвого дома»). Без этого, видимо, не будет полной правды в описании.

Но в воспоминаниях Л. Разгона кроме этого можно увидеть, каким образом введение жаргонной лексики участвует в формировании языка самого автора. Первая возможность — использование жаргонного слова как *чужого* и для автора, и для читателя. Это мы наблюдаем при цитировании разного рода. Вторая возможность — употребление жаргонного слова как *своего* для автора и *чужого* для читателя — в случаях авторского объяснения. Третья возможность — усвоение жаргонизма языком автора-повествователя как необходимого, органического элемента контекста (и текста) для воспроизведения реальной картины описываемого. И наконец, четвертая возможность — использование жаргонного слова как единицы экспрессивно-стилистической с ориентацией на эмоциональное воздействие. Все эти особенности функционирования жаргонизмов, с одной стороны, отражают речевую манеру автора, а с другой, — рассчитаны на определенное восприятие текста читателем, то есть реализуют целевую установку пишущего. Благодаря этому возникает контакт адресант — адресат, — а на более отвлеченном уровне — создается *образ автора и образ читателя*.

Дмитрий Сухарев



Имя Дмитрия Сухарева неотделимо от более чем тридцатилетней истории авторской песни, хотя он и не сочиняет мелодий на свои стихи и не поет со сцены. Песни, написанные на его стихи Геном Шангиным-Березовским, Виктором Берковским, Сергеем Никитиным, Владимиром Красновским, Александром Дуловым и другими композиторами, с середины 50-х годов и до наших дней любимы

и популярны среди приверженцев этого жанра. Часть песен создана им для театра и кино.

В последний период его стихи все чаще привлекают молодых исполнителей, пробующих свои силы в музыкальной интерпретации современной поэзии.

Дмитрий Сухарев — литературный псевдоним Дмитрия Антоновича Сахарова, известного ученого-нейробиолога, доктора биологических наук, лауреата премии им. Л. А. Орбели. Он воспитанник биофака Московского университета, студентом, а затем аспирантом которого был в 1948—1956 гг. Поэт живет в Москве, он автор восьми стихотворных сборников, член Союза писателей СССР.

В ноябре 1990-го ему исполнилось 60 лет.



НЕБО НА СВЕТЕ ОДНО

Небо на свете одно,
Двух не бывает небес.
Мне-то не всё ли равно,
Сколько под небом невест?
Ты мне на свете одна,
С дальнего дня до седин.
Ты мне, как небо, дана,
Чтобы я не был один.

Грянет пустая тоска —
Вот я и снова в пути.
К морю уходит река,
Чтобы дождями прийти,
Стынет река подо льдом,
Чтобы очнуться в тепле, —
Я покидаю твой дом,
Чтобы вернуться к тебе.

Небо на свете одно,
Двух не бывает небес.
Мне-то не всё ли равно,
Сколько под небом невест?
Ты мне на свете одна,
С дальнего дня до седин.
Ты мне, как небо, дана,
Чтобы я не был один.

1964

(Музыка С. Никитина)

ПЕСЕНКА МАМЫ

Ах, так и есть, да, так и есть:
Живем, как в балагане,
Всё в доме вверх ногами,
И мне забот не счесть.
Без нянь крутиться, господа,
Умеет обезьяна,
Но леди без изьяна —
Без няни никуда!

Пришлось проститься с няней Грин —
Она была кутила:
С утра весь день крутила
Пластинку «Лознгрин».
Потом была одна вдова,
Так та играла гаммы:
У нас от этой дамы
Болела голова!

А няня Флинт ушла давно,
Поскольку вместо дела
Сидела и балдела
Под музыку Гуно.
Но всё ж крепка моя рука:
Давайте не валяйте
Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди,
Под музыку Вивальди
Со мною дурака!

Ах, так и есть, да, так и есть:
Живем, как в балагане,
Всё в доме вверх ногами,
И мне забот не счесть, —
Кругом разгром, кругом содом,
Ужасная картина:

То пыль, то паутина,
То корь, то скарлатина,
То насморк, то ангина —
Какой кошмарный дом!

1976

(Песня из спектакля московского театра
им. Ермоловой на музыку В. Берковского и
С. Никитина)

У Дмитрия Сухарева есть небольшое стихотворение «Диалог»:

— Семантику выводим из поэтики.
Поэтика из этики выводится.
В итоге получаются
Пейзажики, портретики,

Короче, все, что в книгах наших водится,
И оды,
И баллады,
И сонетики.

— Короче, вы фанатики фонетики?
И ваши декларации —
Всего лишь декорации,
Скрывающие мизерную суть?

— Быть может. Может быть. Не обессудь.

О чем эти стихи? Кто персонажи этого диалога?

Перед нами два типа мышления — поэтический и антипоэтический. В первой реплике поэт как бы проговаривается, шутливо, но в то же время серьезно признаваясь, что принципиальную основу творчества составляет художественная форма, поэтика. Она не обслуживает готовую идею, не подбирается к некоему «содержанию», а наоборот, активно творит новые, неожиданные смыслы. Неожиданные не только для читателей, но и порой для самих поэтов: «Семантику выводим из поэтики». Таково направление творчества, таким должно быть и направление духовной работы читателя, желающего понять художественное произведение. А поэтика — это не просто голая техника, она сложным образом отражает духовно-нравственный мир человека, она, в конечном счете, — «из этики выводится». «Выводится» не в смысле «вычисляется», а в смысле органично вытекает. При таком взгляде поэтика — это не какая-то теоретическая абстракция, а главная цель работы над словом, главная суть того, «что в наших книгах водится».

Однако подобная позиция всегда пугала людей, внутренне далеких от искусства, не нуждающихся в поэзии как таковой и потому как черт лада страшащихся всякого «формализма». У них всегда наготове ярлыки: «фанатики фонетики», «декорации», «мизерная суть». Они не умеют непосредственно и безотчетно наслаждаться красотой слова, уловить его неповторимую семантику, не сводимую ни к каким «идеям».

И спорить с ними бесполезно. Потому-то поэт в финальной реплике комкает беседу и уходит в сторону. Его единомышленники — это те, кто без подсказки видят в малом большое, в шутке — серьезность, в слове — целый мир, в звуке — потенциальное смысловое богатство.

Если на то пошло, истинные поэты — всегда «фанатики фонетики». А как же иначе? Иначе будет выходить какофония, случайный набор звуков. Для художника цвет, краска — это не

просто «средство», но и зачастую эмоциональное побуждение к творчеству, доминанта будущего произведения. Точно так же для поэта звуки сами по себе — ценность. Кому приходится произносить гласные звуки в отрыве от согласных? Фонетистам, выстраивающим их в систему: *и — ы — у — э — о — а*, да еще певцам, распеваящим их. Ставшее песней стихотворение Сухарева «Аиои» все возникло как эмоциональное осмысление одного сочетания гласных звуков:

В японском странном языке
Есть слово, хрупкое до боли:
 Аиои.
В нем сухо спит рука в руке,
В нем смерть уже невдалеке,
И нежность в нем — не оттого ли?

Поэзия Сухарева — весьма богатый материал для уяснения, какие же именно стихи закономерно становятся песнями, в чем состоит само, так сказать, вещество песенности. Конечно, важнейшую роль играет ритмическая организация, располагающая к претворению в мелодию. Свидетельство тому — и мерно-задумчивый дактиль с отбивающими такт сплошными мужскими окончаниями в песне «Небо па свете одно», и резво-веселый четырехстопный хорей песни «Наташенька», и бойкий ямб «Песенки Мамы», и тонкий лирикопический ритмический рисунок «Александры».

Но есть и другие, не менее важные предпосылки песенности. Это особенная композиционная и смысловая выделенность ключевых слов, цепкость их контекстуальных связей. В одной из ранних песен на слова Сухарева (мелодия В. Берковского) картина весны создается энергично-парадоксальным столкновением двух названий месяцев:

Апрель, апрель на улице!
А на улице февраль.
Еще февраль на улице,
А на улице — апрель!

Ключевое слово нередко отличается от остальных экзотической окраской (географические названия, исторические имена) или иноязычным характером:

Альма матер, альма матер —
Легкая ладья,
Белой скатертью дорога
В ясные края.

Вообще песня тяготеет к «двуязычию». В старые времена важные афоризмы, девизы, клятвы формулировали на чужом языке

(отсюда, в частности, долгая жизнь латыни), что придавало заветным словам повышенную таинственность и торжественность. Авторская песня оказалась причастной к этой древней традиции. Иноязычные вкрапления позволяют посмотреть на родной язык со стороны и благодаря этому ощутить его как целостность. Вместе с тем «чужеземные» слова подвергаются в песенной поэзии образному «переводу», эмоциональному осмыслению:

Ах, менуэт,
 менуэт,
 менуэт,
 К небу валетающий, будто качели!
 Ах, эта партия виолончели!
 Годы *минуют*, а *музыка* — нет.

Последний стих — своеобразная анаграмма слова «менуэт».

Композиционная структура песни чем-то родственна системному строю языка. Песенные повторы, припевы часто напоминают парадигму словоизменения, а иногда просто совпадают с нею. Как, например, в одной из самых известных песен на стихи Сухарева:

Сладострастная отравы — золотая Брич-Муллы,
 Где чинара притулилась под скалою.
 Про тебя жужжит над ухом вечная пчела:
 Брич-Муллы,
 Брич-Муллы,
 Брич-Мулле,
 Брич-Мулле,
 Брич-Муллою.

Может быть, тайна песенного слова в том, что в идеале своем песня — это всякий раз новый язык с присущими ему системными связями. Освоение и постижение этого языка доставляет эстетическое наслаждение и поющим, и слушающим.

Публикацию подготовил А. Е. Крылов ©
 Филологический комментарий Вл. Новикова ©

РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКОВОГО РАСШИРЕНИЯ

СОСТАВИЛ А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

В*

ВЕРВЕЯ, ВЕРВИНА, ВЕРВИЦА
(о верёвке)

ВЕРВЯНЫЕ возжи
столбики ВЕРЁВЧАТЫЕ — ви-
тые

ВЕРГАТЬ, ВЕРГНУТЬ — бро-
сать, метать, швырять

ВВЕРГ меня в бездну

ВЗВЕРГНУТЬ на крышу

ВЫВЕРГНУТЬ вон

ДОВЕРГНУТЬ до меты

ЗАВЕРГНУТЬ за забор, за гору

ПЕРЕВЕРГНУТЬ *через что*

ПРОВЕРГНУТЬ насквозь

ВЕРЖА — *арх.* круги на воде
от брошенного

ВЕРЕДНЫЙ *арх.*, ВЕРЕДНОЙ

НАВЕРЕДИЛ руку, ногу

ПОВЕРЕДИЛ губу

РАЗВЕРЕДИЛ больное место

ВЕРЕДНИК, ВЕРЕДУН, ВЕРЕ-
ДУХА — пакостник, прокуд-
ник

ВЕРЕДЛИВАЯ рука, нога — на-
болелая, чуткая

ВЕРЕДЧАТЫЙ нарыв

ВЕРЕЗГНУТЬ, ВЕРЕЗГНУТЬ —
завизжать, засвистеть, из-
дать дребезжащий, резкий и
протяжный звук

ветер ВЕРЕЗЖИТ в снастях

ребёнок ЗАВЕРЕЗЖАЛ

РАЗВЕРЕЗЖАЛСЯ, не уймёшь

ВЕРЕЗГУН, ВЕРЕЗГУНЯ, ВЕ-
РЕЗГУША, ВЕРЕЗГА *об.*

ВЕРЕНИТЬ — тянуться верени-
цей

ВЕРЕСНЯК — вересковая за-
росль

ВЕРЕТЕННЫЙ, ВЕРЕТЕНЧА-
ТЫЙ — длинный, округлый и
заострённый к концам

ВЕРЕТЕНИТЬ — вертеть, свер-
лить; ⦿ докучливо приста-
вать, надоедать

ВЕРЕТЕНО якоря

ВЕРЕТЬЯ *ж.* — непоёмная гря-
да, релка среди болот; неза-
ливасмое место на пойме, гря-
да вдоль поймы

ВЕРЕЩАТЬ, ВЕРЕСКНУТЬ (о
поросёнке, ребёнке, воротах) —

* Продолжение. См. №№ 3–5, 1990.

- более резко и громко, чем
верезж́ать
- РАЗВЕРЕЩАЛСЯ
- ВЕРЕЩАГА *об.* — резкий бол-
тун, т а р а н т а́; сварливец
- ЯИЧНИЦА-ВЕРЕЩАНКА — гла-
зунья
- ВЕРЕЯ, ВЕРЕ́ЙКА — ось вра-
щательного движения, ворот-
ный столб
- столб ВЕРЕ́ЙНЫЙ и столб
ПРИТВОРНЫЙ
- ВЕРСТА — *в част.* 1. ряд, по-
рядок, прямая черта; 2. ровня,
дружка *чему, что* подстать,
под меру; 3. верстан, долгай,
жердый, верзила, большерос-
лый
- ПРОГНАТЬ ВЕРСТУ (прямой
порядок)
- он тебе НЕ ВЕРСТА, НЕ ПОД
ВЕРСТУ, НЕ ПОД ВЕРСТУ́
такой расход мне НЕ ПОД
ВЕРСТУ
- В ТВОЮ ВЕРСТУ — в твои
лета, годы
- ЭКА ВЕРСТА выросла!
- ВЕРСТАТЬ, ВЕРСТЫВАТЬ —
1. равнять, уравнивать; 2. срав-
нивать; 3. засчитывать, отпла-
чивать за худое и доброе
- ВЕРСТАТЬ добром за зло
- ВЕРСТАТЬ солдат — ставить по
росту
- ВВЕРСТАТЬ *что* в текст
- ЗАВЕРСТАТЬ одно за другое
- ОБВЕРСТАТЬ — обделать, об-
ровнять
- ПЕРЕВЕРСТАТЬ — переделать
- ВЕРСТАТЬСЯ — 1. сравнивать,
равнять себя с кем; 2. кви-
таться; 3. равняться в строю
- РАЗВЕРСТАТЬСЯ с кем — рас-
платиться
- СВЕРСТАТЬСЯ с кем — 1. сра-
вняться; 2. покончить
- ВЕРСТОВО́Й, ВЕРСТНЫЙ
- ВЕРТЕПНЫЙ
- ВЕРТКИЙ — не только увёрт-
ливый, но и: 1. валкий, не-
остойчивый; 2. удобно вертя-
щийся
- ВЕРТЛЯВА, ВЕРТЛЯНА, ВЕРТ-
ЛЯНОЧКА (кокетка)
- ВЕРТЛИВЫЙ человек — измен-
чивый, ненадёжный
- ВЕРТЛО — коловорот, бурав
- ВЕРТКА — *дй.* по глг.
- буравчик для ВЕРТКИ дыр
- ВЕРНИ ещё разок — поверни
- ВЗВЕРТЕЛСЯ
- ПРОВЕРНИ дыру, РАЗВЕРТИ
её пошире
- ИЗВЕРНУТЬСЯ своим — обой-
тись
- ВЕРТОВАТЫЙ (М-Сб)
- там у них ВЕРТЕЖ такой
- ВЕРТЕЖНЫЙ
- ВЕРТИГОЛОВА — вертопрах
- ВЕРТОПРАШНЫЙ
- ВЕРТОПРАШИТЬ, ВЕРТО-
ПРАШНИЧАТЬ
- ВЕРТОНОГИЙ плясун
- ВЕРТОК — 1. один поворот;
2. ручка крана
- ПЛЯСЕЯ-ВЕРТУ́НЯ
- ВЕРТЫ *мн.* — извороты *чего*,
заячьи ломы
- ВЕРТЬ *мжд.* в сторону
- ВЕРТЯЧИЙ, ВЕРТУ́ЧИЙ — при-
способленный вертеться
- ВЕРЧЕНЫЙ — резвый; ● вет-
реный, сумасшедший

- щи ВЕРХОМ ушли — через край
 глазеть ПО ВЕРХАМ — зевать
 ВЕРХОВИК — конный
 ВЕРХОВНИК — высший, распорядитель
 ВЕРХОВНИЧАТЬ где или чем,
 ВЕРХОПРАВИТЬ
 ВЕРХОВИНА, ВЕРХОВИЩЕ,
 ВЕРХОВИЦА — 1. верхушка, макушка; 2. исток реки
 ВЕРХОВЫЕ города, сёла (по реке)
 ВЕРХОВОЙ ветер — сгон, верховик
 ВЕРХОВЫЕ люди — стар. сапожники, ведьможи
 ВЕРХОВАТЬ, ВЕРХОВОДИТЬ, ВЕРХОПРАВИТЬ
 ВЕРХОВЛАСТНЫЙ, ВЕРХОВНОВАСТНЫЙ
 ВЕРХОВОДКА, ВЕРХОВОДЧИЦА
 ВЕРХОГЛЯДНИЧАТЬ — глядеть и судить опрометчиво
 ВЕРХОЛЕТ, ВЕРХОПРАХ
 ВЕРХОСУШНИК — 1. сухие верхние ветви; 2. дерево, подсыхающее сверху
 ВЕРХОСЫТКА — десерт, заедка
 ВЕРХОЩАП — верхогляд
 ВЕРХУШНЫЙ, ВЕРХУШЕЧНЫЙ
 ВЕРХУШНИК — верхогляд, верховхват
 ВЕРШЕНЬ м. — стар. 1. верх, вершина; 2. исток реки
 ВЕРШНЕВОЙ — вершинный
 ВЕРШИНИСТОЕ дерево
 ВЕРШИТЬ дом, стог
 ВЕРШИТЬ кого — в част. казнить, доконать
 ИЗВЕРШИЛ, ВЫВЕРШИЛ скирду
 ОБВЕРШИТЬ двор — покрыть
 ПЕРЕВЕРШИЛИ всё дело ва-ново
 ВЕРШКА — дй. по глг., окончание дела
 ХВАТАТЬ ВЕРШКИ — изучать дело поверху
 ВЕРШКИ УСТОЯ — сливки
 ВЕРШКОВЫЕ градины
 ВЕСЕЛЬСТВО
 ВЗВЕСЕЛИТЬ, ПОДВЕСЕЛИТЬ кого
 ПОДВЕСЕЛЯТЬ пиво — пускать в него хмель
 ВЕСЕЛЯГА м., ВЕСЕЛУШКА, ВЕСЕЛУХА
 ВЕСЕЛОДРУЖНЫЙ
 ВЕСЕЛОМУДРЫЙ
 ВЕСЕЛОНРАВНЫЙ
 ВЕСКИЙ — тяжёлый в малом объёме
 ВЕСОМЫЙ — имеющий какой-либо вес
 ВЕСУЩИЙ — тяжёлый
 ВЕСКОСТЬ, ВЕСИСТОСТЬ
 ВЕСИТЬ каждое слово (взвешивать)
 ПОТОЛОК ПРОВЕСИЛСЯ
 ВЕСЧИЙ, ВЕСЧИК — весовщик
 СВЕСУ мч. — весом, п а в е с
 ВЕСЛЕЦО, ВЕСЕЛЬЦЕ, ВЕСЕЛКО
 ВЕСЕЛЬЧАТЫЙ — в форме весла
 ВЕСЕЛЬНИК — олж. кто на вёслах, гребёт
 ВЕСЛОТЁС, ВЕСЛОТЕСЦ — кто делает вёсла

ВЕСНУ-ВЕСЕНКИ провёл (всю напролёт)
 ВЕСНОВАТЬ *где* — проводить весну
 ВЕСНОВАНИЕ
 ВЕСНОВОДЬЕ, ЯРОВОДЬЕ — половодье
 ВЕСНОДЕННЫЙ
 ВЕСНЯНКИ — весенние песни (от Благовещения до Вознесения)
 ВЕСТВОВАТЬ *что, кому* — уведомлять, извещать
 ВЕСТИТЬ *кому* (Рмз)
 ВЕСТНЫЙ, ВЕСТИМЫЙ — ведомый, не тайный, не сомнительный
 ВЕСТНИЧЕСТВО — доставление вестей
 ВЕСТНИЧАТЬ — переносить вести, сплетничать, лазутничать
 ВЕСТОВОЙ — в част. сигнальный, подающий весть
 ВЕСТОНОША *об.*, ВЕСТОВЩИК — вестник
 ВЕСТОПЛЕТНИЧАТЬ — сплетничать
 БЫТЬ НА ВЕСТЯХ (для посылок и поручений)
 ВЕТВЕННЫЙ
 ВЕТВЕОБРАЗНЫЙ
 ВЕТВЯНОЙ, ВЕТВЯНЫЙ
 шаткий ВЕТЕРЕЦ
 ВЕТРОМ ДЕЛАТЬ *что* — опрометчиво
 ВЕТРЕННЫЙ — где есть ветер; и ●
 ВЕТРЕН *скрщ. прил. (Пуш)*
 ВЕТРЯНЫЙ, ВЕТРЯНЫЙ, ВЕТРЯНОЙ — отнщ. к ветру
 ВЕТРЯНАЯ, ВЕТРЯНАЯ рыба — вяленая, повесная

ВЕТРЕННОЕ лето, место
 ВЕТРОВЫЕ оконные крючки
 ВЕТРОВОЙ парень, ВЕТРОЛЁТ — ветрогон
 ВЕТРЕНЕТЬ, ВЕТРЕТЬ (о погоде)
 ВЕТРИТЬ одежду — сушить на воле, проветривать
 ВЕТРИТЬСЯ, ВЕТРЕТЬ — выветриваться
 ВЕТРИТЬСЯ *где* — *дрг. знач.* легкомысленно себя вести (Лс)
 губы на ветру ВЕТРЕЮТ, ЗАВЕТРЕЛИ
 флаг ВЕТРИТСЯ — развеивается
 камень ВЫВЕТРЕЛ, ВЫВЕТШАЛ — порыхлел
 ЗАВЕТРИЛО — *безл.* поднялся ветер, по вётрело
 ПЕРЕВЕТРИТЬ всю одежду
 ВЕТРЕЛЬНИК — флюгер
 ВЕТРОВОЙ, ВЕТРОЛОМ
 ВЕТРОВОРЁТ — смерч
 ВЕТРОГАР — обветрение кожи
 ВЕТРОГОН — *дрг. знач.* вентилятор
 ВЕТРОГОННЫЙ аппарат (напр., сушилка для волос)
 ВЕТРОДУЙ (о приборе, ● о члв.)
 ВЕТРОДЫРАЯ хижина
 ВЕТРОЖЕЛКЛЫЙ
 ВЕТРОЛЁТКА — ветреница (о жнщ.)
 ВЕТРОЛОМКОЕ дерево (напр., ива)
 ВЕТРОНОСНЫЕ пески — сыпучие, перекатные
 ВЕТРОПЛЁТ — враль
 ВЕТРОПУСК

ВЕТРОСУШНЫЙ

см. ветеринарный — **СКОТОВРАЧЕБНЫЙ**

ВЕТЛОВЫЙ, ВЕТЛЯНЫЙ — вербовый, ивовый

ВЕТЛЯНИК, ВЕТЛОВНИК — ветловая роща

ВЕТХИЙ — не только дряхлый, негодный, но и: исконный, древний, стародавний

ВЕТХОНЕК — изрядно ветх

месяц **НА ВЕТХУ** — на ущербе

ВЕТОХА, ВЕТОШКА — лоскут изношенного

ВЕТОШЬЕ *собр.*

ВЕТОШЬ — *дрг. знач.* **в ы п а ш ь**, выпашенная земля

ИЗВЕТШАЛА одежда

ОБВЕТШАЛ дом, **ПОВЕТШАЛ** и хозяин

ВЕХОТЬ, ВЕХОТКА — мочала, пучок соломы для мойки; ветоть, тряпичка; стелька

ВЕХОТНЫЙ

ВЕЧЕВАТЬ — быть на вече, совещаться

стать **ВЕЧЕМ** — сойтись на сходку

ВЕЧЕРОВАТЬ где — *арх., сиб.* проводить вечер

ВЕЧЕРОВОЙ — вечерний

ВЕЧЕРЕ *нч. — влг.* в нынешний вечер, сегодня вечером

ВЕЧОР, ВЕЧОРАСЬ *нч. —* вчера вечером

ВЕЧЕРУ *нч. —* незадолго до или вскоре после заката

ВЕЧОРОШНИЙ, ВЕЧОРНИЙ удой молока

ВЕЧОРКА, ВЕЧЕРУХА, ВЕЧЕРУШКА — вечеринка

ВЕШИТЬ дорогу, черту, линию — ставить вехи

ВЕШНЕВОДЬЕ (*В. Аф.*)

ВЕЩБА — прорицание, гадание, ворожба

ВЕЩИЙ — кому всё ведомо, прорицатель; смотрок, предусмотрительный

сердце моё **ВЕЩУЕТ** — предчувствует

ВЕЩУН, ВЕЩУНЯ — **в е д у н**, знахарь, предсказатель

СЕРДЦЕ-ВЕЩУН

ВЕЩУНЫН

ВЕЩНЫЙ — материальный, телесный, доступный

ВЕЩЕЛЮБИЕ

ВЕЩЕЛЮБИВЫЙ

ВЕЯЛО — большое опало

ВЕЯЛЬНЫЙ — отн. к вейке

ВЕЯТЕЛЬНЫЙ — устроенный для веянья

куда это он **ПОВЕЯЛСЯ?** — отлучился

ВЗВЕЯТЬ пыль

ВЕВЕЯТЬ мякину

ветерок **ЗАВЕВАЕТ**

всё добро **ИЗВЕЯЛ**

ветер **ПЕРЕВЕВАЕТ** пыль с места на место

ПРОВЕВАЕТ насквозь

ВЕЙКА ж. — провевание зерна

ХЛЕБ-ВЕЙКА м. (чистый, провеянный)

ВЖИВЕ *нч. —* живой; живой в поведении; живучи, во время жизни

ВЖИЛЬ *нч.* пошёл — укрепляется телом

ВЖИМ, ВЖЕМ, ВЖИМКА — *дй. по глг.*

ВЖОМ, ВЖЕМ *нч.* — ватуго, плотно

ВЗАБЕЛЬ *нч.* щи хлебать (с подбелкою)

ВЗАБЫЛЬ *нч.* — в самом деле, вправду, подлинно

ВЗАБЫЛЬ говоришь или шутишь?

я тебе НЕ ВЗАБЫЛЬ отдал (с возвратом)

ВЗАБЫЛЬНЫЙ, ВЗАБЫЛЬШНЫЙ

ВЗАВЕРТ, ВЗАВЕРТЬ, ВЗАВЕРТЬ *нч.* — 1. скрутивши, перекрутив; 2. за один приём, махом, духом

он всё ВЗАВЕРТЬ ПРИЕЛ — сразу съел

ВЗАДИ *нч.* где — позади, в ады; на задней стороне, с изнанки

ВЗАД *нч.* куда

ВЗАДЬ *нч.* — сев. назад, обратно

скоро ли ВЗАДЬ оборотишь?

ВЗАДЬЯТ, ВЗАДЬПЯТКИ *нч.* — раком отступая

ВЗАЕМ, ВЗАЙМУШКИ, ВБОР, УПЛАТНО *нч.* — займы

ВЗАЙМНИЧАТЬ *чем* (в чём), с кем

ВЗАЙМСТВО — взаимность

они ВО ВЗАЙМСТВЕ знаются

ВЗАЙМСТВОВАТЬ кому — оплачивать тем же

сплачивать доски ВЗАКРОЙ — накрывая край краем

ВЗАНАРОК, НАРОКОМ — нарочно, хитючи, с умыслом, за пазом

ВЗАПОРУ, ВЗАПОРЬ *нч.* — сев. в пору, кстати

ВЗАПРАВСКУЮ, ВПРАВДУ — вправду

а мне и не ВЗАПРИМЕТУ *нч.* — я не заметил

ВЗАРИВАТЬСЯ, ВЗАРИТЬСЯ *во* что — 1. глядеть жадно, нагло, впиваясь; 2. вглядеться во что

вол ВЗАТЯЖКУ, ВЗАТЯЖНУЮ берёт, а лошадь УРЫВОМ

ВЗАХЛЁСТ *нч.* (в част. о себе увязки)

ВЗАШЕЙ, ВЗАШЕИ *нч.* — толкая в шею (и ●)

ВЗБАЛМОШЬ, БАЛМОШЬ *ж.* — блажь, сумасбродство

ВЗБАЛМОШИТЬСЯ — взбалмуться

ВЗБАРАБОШИТЬ кого — взбудоражить

ВЗБЕСНОВАТЬСЯ

ВЗБИВКА, ВЗБОЙ — дй. по глг.

ВЗБЛАГОВАТЬ, ВЗБЛАГОВАТЬСЯ *на* кого — взбелениться

ВЗБОРАЗЖИВАТЬ

ВЗБРОСАТЬ *мнжр.*

ВЗБРОСИТЬСЯ *на* кого

ВЗБРОСЧИВЫЙ прав, человек ВЗБРЫЗНЕТ ли труба до крыши?

ВЗБУБЕНИТЬ

кроты ВЗБУГРИЛИ всю землю

ВЗБУЖИВАТЬ, ВЗБУЖАТЬ — ● и ●

медведя ВЗБУДИЛИ — выгнали из логова

ВЗБУД, ВЗБУДА — сполох, тревога, набат

пароход ВЗБУРИЛ реку

эта молва ВЗБУРИЛА народ

так и ВЗБУРИЛСЯ столбом на
кого

тесто хорошо ВЗБУТУСИЛОСЬ
ВЗБЫСТРИТЬ (*Есн*)

ВЗВАЖИВАТЬ — от взводить
и взвозить

ВЗВАЖИВАЛИ мы и не на та-
кую гору

насилу ВЗВАЛИЛСЯ на лошадь
взять НА ВЗВАЛ — навалить
себе на плечи

ВЗВАРИТЬ — довести до ки-
пения

ВЗВАР — 1. всякий отвар;
2. компот

ВЗВЕЛИЧАТЬ кого — в част.
назвать по отчеству

ВЗВЕЛИЧАНИЕ — чествование

ВЗВЕНИВАТЬ (*Есн*)

ВЗВЕРИТЬСЯ — исполниться
зверской злобы

ВЗВЕРШИТЬ, ВЗВЕРШИТЬ
кладь, скирд, каланчу

ВЗВЕС, ВЗВЕСКА — дй. по глг.
чем бы сердце ВЗВЕСЕЛИТЬ?

ВЗВЕСЕЛЯЕТСЯ душа молит-
вою

ветром ВЗВЕЯЛО пыль, флаг

ВЗВИДЕТЬ (при внезапности,
сильном волнении)

временами он ВЗВИРЫВАЕТ

ВЗВИХ (*Рмз*)

ВЗВИХНУТЫЙ (*Рмз*)

ВЗВОДИТЬ что, на кого — об-
винять неправо

ВЗВОДИТЬ судно против воды
ВЗВОДЕНЬ — большая развод-
ная волна

ВЗВОЗ — в част. подъём от
реки, моста, перевоза

ВЗВОЛОК, ВЗВОЛОЧКА — дй.
по глг.

ВЗВОЛЧИТЬСЯ на кого

ВЗВОНИТЬ — начать звон, бла-
говест

ВЗВОРОТИТЬ камень на горку
всё ВЗВОРОЧАЛИ в ящиках
при обыске

ВЗВОШИТЬ что, ВЗНЯТЬ,
ПОДЪЯРИТЬ — поднять ва-
гою, рычагами

ВЗЯТЬ НА ВЗДОХ, ПОДНЯТЬ
НА ВЗВОШКУ

ВЗВЫНЬ жс. — звон травы под
косой (*Рсн*)

ВЗВЫТЬСЯ на что — взгоре-
ваться, всплакаться

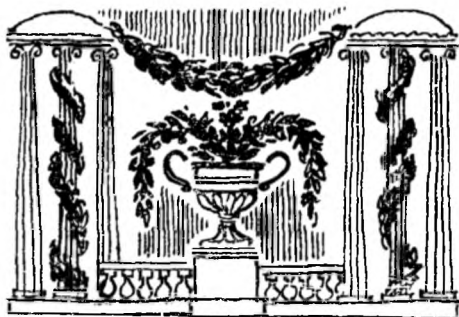
ВЗГАДАТЬ что — вздумать, во-
образить, вспомнить

НЕ ВЗГАДЫВАЙ мне этого —
не напоминай

что тебе ВЗГАДАЛОСЬ? — при-
шло на ум

старину ВЗГАНУЛ — вспомнил

Продолжение следует



*Значение А. С. Пушкина
в истории русского литературного языка
и в истории стилей
русской художественной литературы**

Академик В. В. Виноградов

10

Многообразие идейного, образного и предметного содержания пушкинского творчества соответствовало богатству, тонкости и разнообразию пушкинской стилистики. Используя гибкость и силу русского языка, Пушкин с необыкновенной полнотой, генеральной самобытностью и идейной глубиной воспроизводил с помощью его средств самые разнообразные индивидуальные стили русской современной и предшествующей литературы, а также, когда это было нужно, литератур Запада и Востока. Язык Пушкина вобрал в себя все ценные стилистические достижения предшествующей национально-русской культуры художественного слова. Пушкин писал разными стилями русской народной поэзии (сказки, песни, присказки). В духе и стиле сербских песен написаны его «Песни западных славян». Он свободно и поразительно тонко, лаконичными намеками и несколькими штрихами воссоздал стили всех крупнейших поэтов XVIII в. и поэтов-современников.

* Окончание. См.: №№ 3-5, 1990.

Он быстро пародировал стили Булгарина, Полевого, Каченовского и других своих журнальных врагов-реакционеров.

Эти пробы в разных манерах, нося отпечаток национального русского гения, в ступенчатом виде воссоздавали не внешнюю видимость чужого стиля, а его дух, воплощенную в нем словесно-художественную систему. В пушкинских воспроизведениях не только отражается чужой стиль с наиболее типичными и характерными качествами, но ярко выступает и творческий метод самого Пушкина, его индивидуальный стиль, с присущим ему своеобразием миропонимания и художественного вкуса.

Стили выдающихся русских писателей XVIII в. Пушкин рассматривал как отражение соответствующего социально-исторического уклада русской культуры. Стили своих современников Пушкин или возводил к их идеальному пределу, отсеивая их недостатки, или же зло пародировал, обнажая и стущая их несоответствие задачам и потребностям русской национальной литературы и запросам прогрессивной общественности. «Хороший пародист, по словам Пушкина, обладает всеми слогами». Вот в качестве иллюстрации — пушкинская стилизация под Сумарокова:

В ту пору Лев был сыт, хоть сроду он свяреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

Просторечное *сроду* и архаичное *вертеп* в значении «пещера» ведут к басенному стилю Сумарокова. Между тем это сочиненный самим Пушкиным, хотя приписанный им Сумарокову, эпиграф к одиннадцатой главе «Капитанской дочки». Представляя бунтовщика Емельяна Пугачева в образе царственного льва, Пушкин как бы укрывается за стиль Сумарокова.

Пушкинские стилизации и пародии всегда выходят из узких границ формально-стилистического замысла. Насыщенные глубоким содержанием, они всегда разрешают сложную идейно-художественную задачу. Пушкин широко пользуется этим методом стилистического «переодевания» не только в языке поэзии и художественной прозы, но и в своем публицистическом стиле. Тут отыскиваются истоки того эзоповского языка, который затем — вслед за Салтыковым-Щедриным — укрепился в русской революционно-демократической публицистике второй половины XIX в.

Так, в своей «Истории села Горюхина» Пушкин пародически использовал исторические стили таких далеких друг от друга писателей, как Карамзин и Н. Полевой.

11

Со смысловой насыщенностью пушкинского языка тесно связано поразительное жанровое многообразие его творчества. Белинский метко назвал роман в стихах «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни первой четверти XIX в. В стиле «Евгения Онегина» звучат отголоски разных социально-речевых стилей разговорно-бытового языка того времени (языка передовой дворянской интеллигенции, эпистолярный стиль девушки и молодого дворянина, устная речь няни, помещичьи разговоры, речевой стиль великосветской гостиной, фольклорный язык и т. п.). Но тут же — наряду с манифестом нового реалистического стиля и яркими образцами его — нашли острое, иногда пародическое отражение разные стили современного Пушкину поэтического языка. В языке «Евгения Онегина» отразилась материальная и духовная культура всей России 20-х и 30-х годов XIX в. В такой же разнообразной и красочной языковой картине представлена жизнь русской помещичьей усадьбы и деревни в «Графе Нулине», разных слоев Петербурга — в «Домике в Коломне» и «Медном всаднике» и т. п.

Россия с ее природными богатствами, с разнообразием ее пейзажей и ее населения, с пестротой социального быта и речевой культуры разных классов и слоев русского народа отражена в творчестве Пушкина с небывалой до этого времени широтой. Пушкин стремится — при отражении русской жизни — использовать все разнообразие красок и выразительных средств русской речи в ее разных социально-речевых видоизменениях. Кроме того, самобытно используя разные стили мировой литературы и придавая им яркий колорит национального русского гения, национального русского своеобразия, Пушкин коснулся в своем творчестве культуры и быта самых разнообразных народов Европы, Америки и Азии.

В языке Пушкина нашли глубокое, гениально художественное выражение мысли, понятия: убеждения и чувства передового русского общества первой трети XIX в. Воспитывающая, образовательная сила этого выражения была необычайно велика.

Вместе с тем в пушкинском словесном мастерстве были даны гениальные образцы национального русского выражения чувства и мыслей художественными средствами великого русского языка.

С реалистическим стилем воспроизведения русской действительности, полно определившимся в творчестве Пушкина уже в начале 20-х годов, сочетается затем историзм как метод мышления и литературно-языкового изображения. Обращение к историческим темам еще дальше раздвинуло смысловые горизонты пуш-

кинского языка. Стремясь воссоздать стиль и мировоззрение изображаемых эпох, Пушкин тонко и осторожно использует некоторые средства летописного языка, языка изображаемых эпох. Например, в «Езерском»:

Мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей дух воинственный и зверской
Был древле ужасом морей.
Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода,
Гласит Софийский хронограф.

Историческая действительность, по Пушкину, должна изображаться в свете ее культурного стиля, в свете ее собственных социальных норм, вкусов и оценок. Так, исторический роман обязан «воскресить минувший век во всей его истине». «Дух» века и среды воссоздается Пушкиным с помощью немногих, но типичных, обобщенных социально-языковых примет, ему свойственных. Пушкин — противник как субъективно-идеалистического произвола, ведущего к антиисторизму, так и близорукой натуралистической мелочности. Пушкинское слово было тесно связано не только с самой исторической действительностью, но и с тем или иным литературным стилем, характерным для этой действительности. В слове сказывалась и отражалась историческая действительность не только с ее жизненной, социальной борьбой, но и с противоречиями свойственных ей мировоззрений и литературных вкусов.

Строго исторические, реалистические образы, окруженные как бы облаком настойчивых, но неуловимых современных ассоциаций, располагались в композиции пушкинского произведения, так что возникал смысловой параллелизм разных кругов и сфер действительности.

В творчестве Пушкина, в разных его стилях, нашли отражение разные эпохи русской истории. Тут и древнейшая, легендарно-былинная Русь — в «Песне о вещем Олеге», отчасти в сказках; Русь новгородская — в «Вадиме»; Русь московская — в «Русалке», в «Борисе Годунове»; восстание Разина — в песнях о нем; петровское время — в «Полтаве», в «Арапе Петра Великого», отчасти в «Медном всаднике»; пугачевщина — в «Истории Пугачева», в «Капитанской дочке»; Отечественная война 1812 года, последующие события вплоть до декабрьского восстания — в «Рославлеве», в «Медном всаднике», в «Евгении Онегине», в ряде стихотворений и эпиграмм; общий обзор русской истории — в «Родословной моего героя».

Пушкиным были выработаны новые реалистические методы исторического изображения воспроизводимой эпохи, разных слоев общества и образа мыслей того времени с помощью самостоятельного художественного использования языка исторических памятников, языка фольклора и разных типов современной живой народной речи. Стиль пушкинского исторического повествования оказал огромное влияние на все последующее развитие стилей русского исторического романа (так же, как язык «Бориса Годунова» на стиль русской исторической драмы, например, в творчестве А. Н. Островского, А. К. Толстого и др.).

12

С проблемой языка и мышления, с проблемой словесного творчества у Пушкина сочетался еще один вопрос — об остроумии. Пушкин очень ценил это качество литературного стиля. Рассматривая чужие произведения, Пушкин всюду, где это было возможно, отмечает как положительную черту стиля — «шутливую остроуту» или «остроумие».

Между истинным, глубоким остроумием и вдохновением в понимании Пушкина — тесная и прямая связь. Пушкин противопоставляет вдохновение поэтическому восторгу. «Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому». Между тем, «вдохновение есть расположение души к живейшему приятию впечатлений и к соображению понятий, следственно и объяснению оных». «Соображение», то есть сопоставление понятий, и составляет основную сущность и силу той творческой способности, которая называется «остроумием».

Остроумие пушкинского стиля проявляется главным образом в двух основных формах неожиданного сопоставления понятий: 1) в смысловом строе пушкинских образов и метафор, которые поражают остротой сближения внешне далеких понятий, а также в отточенности пушкинских афоризмов, и 2) в особом способе присоединительного сочетания фраз, относящихся к разным областям действительности, к разным смысловым сферам. В том и другом случае смысловой объем слов или сочетаний слов безмерно расширяется. Неожиданное сближение далеких понятий преодолевает смысловое расстояние между ними и придает выражению необыкновенную энергию, лаконизм и изобразительность. Это новое выражение поражает реалистической глубиной и силой отражения действительности.

Вот несколько пушкинских метафор, основанных на остроумном сближении понятий.

В «Послании цензору» (1822):

Докучным евнухом ты бродишь между муз...

В стихотворении «Недвижный страж дремал» — о Наполеоне:

Мятежной вольности наследник и убийца.

Об императоре Александре в стихотворении «К бюсту Завоевателя»:

В лице и в жизни Арлекин.

В стихотворении «На выздоровление Лукулла» — о графе Уварове:

А между тем наследник твой,
Как ворон к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся пад тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.

В стихотворении «Вновь я посетил тот уголок земли...» — о трех соснах, мимо которых десять лет назад проезжал поэт:

Они все те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; [кусты] теснятся
[Под сенью их как дети.] А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему все пусто.

Ср. в письме к жене от 25 сентября 1835 г.:

«...Около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая, сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу».

Не менее характерны для пушкинского стиля острые афоризмы. Например: «Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом» («Путешествие из Москвы в Петербург»). Ср.: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место» («Пиковая дама»).

Пушкин приводит в движение весь смысловой строй русского языка. В языке Пушкина русская мысль достигла, говоря словами поэта Тютчева, своей возмужалости, своего совершеннолетия. Пушкину принадлежит множество важных художественных от-

крытий в области новых методов синтаксического построения и фразеологического сочетания речи. Он, например, вводит новый принцип присоединения друг к другу фраз, которые с первого взгляда кажутся очень разнородными по смыслу, но в сочетании образуют остроумный и полный глубокого значения образ. Например, сатирическая характеристика императрицы Екатерины складывается у Пушкина посредством остроумного и неожиданного сочетания, или сцепки, таких типических признаков, которые в совокупности дают яркий портрет.

Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.

В «Капитанской дочке» — в описании дворянского воспитания в XVIII в.: «В то время воспитывались мы не по-нынешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла».

В сущности к такому пониманию остроумия близко подходят те черты, в которых Пушкин видел своеобразное проявление национального русского народного характера: «веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться». Все эти черты нашли, по мнению Пушкина, особенно яркое воплощение в языке басен Крылова.

13

Пушкин говорил, что «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» и что «всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства». Какой же драгоценностью для нас являются рукописи нашего великого поэта, отражающие процесс его творчества, его работы над русским языком! Это — своеобразная стенограмма художественного мышления, воспроизводящая смену словесных образов, изгибы и повороты творческих мыслей.

О Пушкине можно сказать то же, что он сам сказал о Петре I:

Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

Великий национальный поэт, историк, публицист, критик — журналист, политик, общественный деятель, — он внес огромный вклад в историю нашей отечественной культуры и прежде всего в историю русского литературного языка.

Пушкин любил русский язык с силой и страстностью патриота. Он называл его «богатым и прекрасным», «гибким и мощным в своих оборотах и средствах». Для Пушкина — народного поэта, родоначальника русской литературы, высоко державшего знамя национальной чести русского народа, русской культуры, — великий русский язык был как бы воплощением гения русской нации.

По свидетельству современников, «оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесенное».

Язык самого Пушкина стал для всех нас высшим воплощением национального русского поэтического стиля. По словам И. С. Тургенева, «русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в великолепном языке Пушкина».

Язык Пушкина является истоком и источником всего последующего стремительного развития русского литературного языка, связанного с расцветом реалистических стилей художественной литературы. «Пушкин у нас — начало всех начал», — сказал М. Горький.

СЛИВОВЫЙ И СЛИВОВЫЙ

А. С. Дерябина

В разговорной речи мы встречаемся с двояким ударением, например, в таких прилагательных, как *кѣтовая* и *кетóвая* икра, *сливовый* и *сливóвый* компот. Почему в приведенных примерах наблюдается колебание ударения? Какое из ударений является правильным с точки зрения норм современного русского литературного языка? Чтобы ответить на эти вопросы, следует выяснить причины появления подобных акцентных вариантов.

Прилагательные *кетовый* и *сливовый* относятся к группе прилагательных с суффиксом *-ов (-ев)*, производных от имен существительных. В литературном языке тип ударения подобных прилагательных зависит от типа ударения производящего существительного.

От существительных, имеющих неподвижное ударение на корне, образуется прилагательное с корневым ударением: *йва*, *йвы*; мн. *йвы* — *йвовый*; от существительных, имеющих неподвижное ударение на окончании, — прилагательное с суффиксальным ударением: *айва́*, *айвы́* — *айво́вый*; от существительных, имеющих подвижное ударение, — прилагательное с флексивным ударением: *межа́*, *межи́*, мн. *ме́жи* — *межево́й*. Такая зависимость ударений достаточно устойчива. (В науке эта зависимость носит название «закона Хартмана».)

Однако в ряде случаев наблюдается нарушение этой акцентной соотносительности. Одной из причин, способствующих появлению такого «нетрадиционного» ударения в прилагательном, может быть появление иного ударения в производящем существительном. Так, в современном русском языке некоторые существительные наряду с корневым основным ударением развивают ударение на окончании: *фольга́* и *фольга́*, *кѣта* и *кетá*, *ки́рза* и *кирза́*. Закрепленные ударения на окончании в существительном обуславливают появление ударения на суффиксе в прилагательном.

Корневое ударение в прилагательном *кирзовый* «сделанный из кирзы», образованном от существительного *кирза* «плотная многослойная ткань, употребляемая как заменитель кожи в обувном и некоторых других производствах», по правилам акцентной соотносительности соответствует корневому ударению производящего слова. С этим ударением прилагательное приводится в 17-томном словаре современного русского литературного языка (М.—Л., 1950—1965). В этом же словаре дается и вариант *кирзѳвый*, суффиксальное ударение которого соответствует существительному *кирза* с ударением на окончании. Это прилагательное в данном словаре имеет помету *просторечное*. В Орфоэпическом словаре (М., 1983) вариант *кирзѳвый* оценивается как *допустимый*. В реальном употреблении наблюдается широкое использование обоих акцентных вариантов:

Ср.: Забыть ли день, когда
в складском бараке
Мне дали знаменитый котелок,
Пилотку и одежду цвета хаки,
Ремень и пару *кирзовых* сапог.
В. Шефнер. Встреча в пригороде

И.: Сквозь недоступные болота,
На вязких поймах и лугах
Шла наша матушка-пехота
В своих *кирзѳвых* сапогах.
М. Матусовский. Здесь нет берез
и русских сосен

От существительного *кета* (*кетá*) «морская промысловая рыба семейства лососевых» образуются соответственно прилагательные *кетовый* и *кетѳвый*. В толковых словарях вариант *кетѳвый* дается без ограничительных помет и распространен в разговорной речи.

Суффиксальное ударение в прилагательном *кетѳвый* в 4-томном словаре русского языка (М., 1985—1988) сопровождается пометой *разговорное*, а в Орфоэпическом словаре оно определяется как менее желательное, но допустимое и находящееся в пределах нормы: *кетѳвая икра*.

Подобные объяснения падают и колебания *фѳльзовый* и *фѳльзѳвый*, *лѳффовый* и *лѳффѳвый*.

Существует, однако, небольшая по составу группа прилагательных, где колебание ударения не может быть связано с изменением ударения в производящем существительном.

Ударение в существительном *вишня* «плодовое дерево или кустарник семейства розоцветных» и «сочный темно-красный не-

большой плод этого дерева», по данным словарей, стабильно сохраняется на корне. По правилам акцентной соотносительности, в производном прилагательном должно быть корневое ударение: *вишневый*. Действительно, вариант *вишне́вый* отмечается в Толковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1934–1940). Подтверждают его распространение в прошлом и следующие строки:

М и з г и р ь: Подай медку!

Б о б ы л ь: Какой тебе по праву:

Малиновый, аль *вишне́вый*, имбирный?

А. Островский. Снегурочка

По данным академических словарей и Орфоэпического словаря, в современном языке нормативным считается прилагательное с суффиксальным ударением: *вишнё́вый* «приготовленный из вишни и относящийся к вишне» и «темно-красный, цвета вишни»: «*Вишнёвая* слаще,— говорит Феня.— Я завтра тебе припесу *вишнёвой* смолы» (Паустовский. Фенино счастье).

Словари отмечают колебание ударения и в прилагательном, производном от существительного *гру́ша* «плодовое дерево семейства розоцветных» и «плод этого дерева, имеющий форму округлого конуса». Вариант *грушб́вый* (наряду с *груше́вым*) «сделанный, приготовленный из груши», отмечается в I изд. 4-томного словаря (М., 1957–1961). Во II и III изд. этого словаря (М., 1981–1984; М., 1985–1988) приводится только прилагательное *груше́вый* с корневым ударением, которое традиционно оценивается как единственное нормативное. С этим же ударением прилагательное дается в 17-томном и Орфоэпическом словарях.

Обращаясь к рассмотренным примерам, можно видеть, что при устойчивом корневом ударении производящего существительного (*вишня*, *груша*) в производном прилагательном возможно появление суффиксального ударения. Активизации суффиксального ударения в этой группе прилагательных способствует, возможно, общая тенденция к суффиксальному ударению в прилагательных с суффиксом *-ов*. Все это, в свою очередь, приводит к «расшатыванию» акцентных норм и появлению суффиксального ударения и в других прилагательных, стабильно имевших корневое ударение, например в прилагательном *сли́вовый* «приготовленный из слив и относящийся к сливе». Корневое ударение в этом прилагательном, образованном от существительного *сли́ва* «плодовое дерево» и «плод этого дерева лилового, желтого и др. цвета с крупной косточкой», имеющего ударение на корне, закономерно. Оно соответствует правилам акцентной соотносительности, о котором говори-

лось выше. С этим ударением прилагательное отмечалось и при первой его фиксации (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, М., 1904—1909). В разговорной речи прилагательное приобретает, видимо, по аналогии с рассмотренными примерами, суффиксальное ударение: *сливбвый*. Несмотря на распространение этого явления, суффиксальное ударение с точки зрения норм современного русского литературного языка считается речевой ошибкой. По данным современных словарей, нормативным является прилагательное только с корневым ударением: *сливовый*. Поэтому следует говорить: *сливовый компот, сливовая пастила, сливовый сок*.



Кое-что о псевдоомонимах

Н. П. Колесников,
доктор филологических наук

Что такое омонимы — известно всем со школьной скамьи. Это слова, имеющие разное значение, но одинаковое написание и произношение. А что такое псевдоомоним?

Представьте такую ситуацию: вам нужно определить словообразовательную модель слова *договор*. Вы обращаетесь к «Словообразовательному словарю русского языка» А. Н. Тихонова. Находите там это слово и устанавливаете, что оно состоит из двух элементов: приставки *до-* и корня *говор*. Однако находится человек, который утверждает, что взятое слово членится не на две, а на три части: *дог-* (англ. «собака»), *-о-* (соединительная гласная), *-вор*. Вследствие такого членения слово *договор* получает значение «похититель догов», а не только «соглашение о взаимных обязательствах». Поэтому якобы есть слова-омонимы *договор* и «*договор*». Рассуждение как будто правильное. Но ведь слова *договор* в значении «похититель догов» в русском языке нет. Это значение появилось в результате преднамеренного или непреднамеренного искажения структуры слова *договор* и поэтому является не омонимом, а псевдоомонимом известного нам слова.

Итак, псевдоомоним — это слово, которому приписывается на основании неверного словообразовательного анализа другое значение, отличное от значения узуального, признаваемого всеми и не связанное с действительной структурой слова.

Первыми, кто обратил на это внимание, были лингвисты Б. Ю. Норман, М. А. Зубков, В. А. Карпов, Л. А. Подольский, А. М. Спичка. Это они в 1970 году опубликовали 204 псевдоомонима под названием «Этимологический словарь» (Сборник статей «Вопросы языка и литературы». Выпуск 4, 1970 г., Новосибирск). Первоначально он преследовал развлекательную цель, поскольку давал заведомо искусственное ложноэтимологическое толкование слов. Среди них были такие псевдоомонимы, как *аппетит* (в знач. «отсутствие петита в типографии»), *бегония* (в знач. «спортивная дорожка для бега»), *леша* (в знач. «самка льва»), *соплеменник* (в знач. «большой насморк») и другие.

Говоря о словообразовательной семантике, Б. Ю. Норман отмечает, что «юмористический эффект словарных статей основан, как правило, на случайном омонимическом совпадении или паронимическом сближении двух основ». Часть этих слов была впоследствии опубликована администрацией «Клуба ДС» на 16-й странице «Литературной газеты». Этот материал использовал И. Г. Милославский в серьезной статье «Словообразовательный анализ и словообразовательный синтез» (Русский язык в национальной школе. 1975. № 3).

Псевдоомонимы в основном являются именами существительными, образованными от существительных же и обозначающими лиц: *банка+ир=банкир* (приемщик стеклотары), от глаголов: *приврать+ник=привратник* (мелкий лгун). Бывают и двукорневые имена существительные, обозначающие лиц: *банк+о+мет=банкомет* (банковский подметальщик), *сам+о+род+ок=самородок* (ребенок, родившийся помимо воли супругов).

Среди существительных-псевдоомонимов могут быть названия различных живых существ: *барс+ук=барсук* (детеныш барса), *щегол+иха=щеголиха* (самка щегла); названия различных предметов: *бив+ак=бивак* (то, чем бьют), *крем+аторий=крематорий* (косметический кабинет), *само+гон+ка=самогонка* (дрезина).

Имена прилагательные образованы в основном от имен существительных и указывают на какие-либо качества человека и других существ: *бес+пуг(ь)+ный=беспугный* (отдыхающий на курорте без пуг/евки/), *един+о+кров+ный=единокровный* (живущий под одной крышей с другими).

Нередки глаголы, обозначающие различные действия: *за+верб/а/овать=завербовать* (засадить вербами участок земли).

Как показывают приведенные примеры, слова при словообразовательном анализе могут члениться на морфемы не только в соответствии с существующими нормами: *пилот+ка* (головной убор и женщина-пилот), *реч+ка* (небольшая река и короткая речь), но и с грубым нарушением их: *вин+овница* (женщина, являющаяся причиной чего-либо) и *вино+вница* (продавщица вина).

Для автора, использующего с определенной художественной целью (т. е. преднамеренно) псевдоомонимы, основным в его поисках является нахождение в заданном слове такого звукового комплекса, который в какой-то степени походил бы на звуковые комплексы корневой части другого слова, сближаемого с первым.

Непреднамеренному появлению псевдоомонимов способствует недостаточное знание словарного состава родного языка. Если я знаю, что кинология — это только наука о разведении собак, то я не могу сказать, что есть и другой словарный знак *кинология*, который означает «наука о кино». Но тот, кто не знает, что есть наука о собаках, называемая *кинологией*, может сказать, опираясь на свое восприятие морфемного состава этого слова, что *кинология* — это наука о кино, хотя науки о кино под таким названием не существует. И тем не менее в книге «Новое в русской лексике. Словарные материалы-79» уже зафиксировано слово *кинология* в значении «киноведение», хотя и с пометой «шутл.» Такая «шутка» может привести к тому, что *кинология* (в знач. «киноведение») станет действительным омонимом *кинологии* («науки о собаках»).

Явление, которое мы называли псевдоомонимией и на которое сейчас обратили внимание, использовали пока что в основном юмористы, даже составившие из псевдоомонимов кроссворды (в журнале «Крокодил»). Это явление требует осмысления и дальнейшего изучения.

Ростов-на-Дону

Александр Александрович Реформатский 1900—1978

Л. Л. Касаткин,
доктор филологических наук



16 октября 1990 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Александра Александровича Реформатского, одного из замечательных отечественных филологов, лингвистические труды которого оказали заметное влияние на развитие нашей науки.

Становление научных интересов А. А. Реформатского происходило в 20-е годы — особую эпоху в жизни нашей страны, когда бурно развивавшиеся наука

и искусство привлекали к себе лучшие силы творческой интеллигенции.

Во время учебы в Московском университете (1918—1923 гг.) А. А. Реформатский — активный участник различных научных обществ и кружков — ОПОЯЗ'а (Общества изучения теории поэтического языка), Общества любителей российской словесности, Лингвистического общества, Московского лингвистического кружка и др.

Первые серьезные научные интересы А. А. Реформатского связаны с изучением поэтики. В университетских семинарах П. Н. Сакулина, М. А. Петровского, А. С. Орлова и на заседаниях ОПОЯЗ'а А. А. Реформатский читает свои доклады об исследовании композиции романа Достоевского «Игрок», новеллы Мопассана, авантурной повести XVIII века. В 1922 г. опубликована в виде отдельной брошюры первая научная работа А. А. Реформатского — «Опыт анализа новеллистической композиции». Эта брошюра была издана как первая публикация Московско-

го ОПОЯЗ'а, она была заметной вехой в отражении широкого течения того времени, называемого русским формализмом. По воспоминаниям М. В. Панова, В. Н. Сидоров так рассказывал об этой работе: «Она была вся сплошь в формулах. Так что некоторые даже покупали, думая, что это книжка химическая, потому что Реформатские (отец и дядя А. А. Реформатского.— Л. К.) были известны как химики» (см.: Аванесов Р. И., Папов М. В. Александр Александрович Реформатский // Фонетика. ФONOлогия. Грамматика: к семидесятилетию А. А. Реформатского. М., 1971. С. 11). Другая большая работа по поэтике — «Структура сюжета у Л. Толстого» была написана А. А. Реформатским к 100-летию писателя в 1928 г., но опубликована уже после смерти ее автора (Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика. М., 1987).

К последнему курсу университета научные интересы А. А. Реформатского все более и более смещаются в иную область — лингвистику. «Для этого отказа от литературоведения и перехода всецело на лингвистические рельсы,— вспоминал впоследствии А. А. Реформатский,— у меня был теоретический тезис, а именно: надо изучать данность, а не то, что за ней стоит. Данность — это текст и его морфология. А текст — это прежде всего язык. И хорошим специалистом по поэтике

может быть лишь тот, кто хорошо и правильно понимает язык» (Фонограмма беседы с А. А. Реформатским В. Д. Дувакина в 1973 г., хранящаяся в Лаборатории экспериментальной фонетики Института русского языка АН СССР). Большую роль в этом решении сыграло общение с университетским профессором Д. Н. Ушаковым, духовная близость и сотрудничество с которым продолжались и все последующие годы.

А. А. Реформатский и другие ученики Д. Н. Ушакова — Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров вместе с еще одним товарищем по университету С. И. Дмитриевым создали в середине 20-х годов своеобразное научное объединение ДАРС, названное так по первым буквам фамилий его участников. Во время еженедельных встреч, обсуждения проблем лингвистики члены этой группы решили написать книгу «Основы языковедения», где А. А. Реформатскому отводился раздел морфологии. Книга эта не была написана, но в результате размышлений, споров, диспутов в этой группе были заложены начала так называемой Новомосковской лингвистической школы. В основе ее идей взгляды Ф. Ф. Фортунатова, переданные молодым лингвистам университетскими преподавателями — учениками Ф. Ф. Фортунатова, и в первую очередь Д. Н. Ушаковым, Н. Н.

Дурново, А. М. Пешковским, М. Н. Петерсоном.

Одними из ближайших задач того времени были реформа русской орфографии, создание алфавитов языков народов СССР, разработка унифицированной фонетической транскрипции. Эти проблемы становятся главными для А. А. Реформатского в конце 20-х — начале 30-х годов. И тогда, и впоследствии он активный член различных комиссий по орфографии, автор ряда орфографических трудов, один из тех, кто подготовил орфографическую реформу 1964 г., проваленную активными усилиями некомпетентных писателей и литературоведов.

Эти задачи нельзя было решить, не выяснив основного значения букв. Так практические цели потребовали решения проблем фонологии. При подготовке к Всероссийскому съезду по реформе орфографии (1931 г.) единомышленниками А. А. Реформатского, Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова оказались П. С. Кузнецов, тоже ученик Д. Н. Ушакова, и А. М. Сухотин, ученик Н. Ф. Яковлева. Эти пять лингвистов создали Московскую фонологическую школу.

Создатели МФШ основывались на взглядах И. А. Бодуэна де Куртене о фонеме. Большую роль в становлении этого направления в фонологии сыграл Н. Ф. Яковлев, который в начале 20-х гг. в ряде работ сфор-

мулировал свои фонологические позиции, вытекавшие из взглядов Бодуэна де Куртене. В эти же годы становится известным «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Идеи Фортунатова, Бодуэна де Куртене, Соссюра лежат в основе теории МФШ.

Фонология с этих лет становится главным направлением всего творчества А. А. Реформатского. Во многих статьях, книгах, в значительной степени итоговой работе «Из истории отечественной фонологии» (1970) А. А. Реформатский излагает и развивает основные положения МФШ.

Отличает эту теорию от других то, что фонема понимается как единица языка, представленная множеством всех позиционно чередующихся звуков независимо от их качества. Такое понимание фонемы наиболее точно отражает многовековую русскую графическую и орфографическую практику, когда одной и той же буквой обозначается единица, представленная самыми различными звуками, объединенными одним лишь функциональным свойством — способностью чередоваться в разных фонетических позициях в одной и той же морфеме. Так, фонеме [с] могут представлять звуки [с] (с сыном), [с'] (с сестрой), [з] (с братом), [з'] (с дядей), [ш] (с шурином), [ж] (с женой), [ш'] (с чадом) и др.

А. А. Реформатскому принадлежит в МФШ формулировка основных функций фонемы как перцептивной (т. е. функции узнавания, отождествления одних и тех же значимых единиц языка — морфем и слов) и сигнификативной (т. е. функции различения разных языковых единиц). Так, звуки [с] — [с'] — [з] — [з'] — [ш] — [ж] — [ш'] в приведенном выше примере полностью зависят от фонетических позиций — следующих звуков и, относясь к одной и той же фонеме <с>, не различают поэтому, а отождествляют одну и ту же морфему — предлог с. Звуки же [п] — [б] — [м] — [т] — [д] — [н] — [л] — [р] — [к] в словах *пот, бот, мот, тот, дот, нот, лот, рот, кот* являются представителями разных фонем, при помощи которых и осуществляется различение этих слов.

Одна из основных сторон МФШ — теория позиций как «условий реализации фонем в речи». Значительный вклад в эту теорию принадлежит А. А. Реформатскому, который выделяет в соответствии с функциями фонемы перцептивно сильные и слабые и сигнификативно сильные и слабые позиции. В перцептивно сильной позиции «фонема более всего „похожа на себя“ и ее легче узнать,... она выступает в своем основном виде»: <а> в звуке [а], <и> в звуке [и]. В перцептивно слабой позиции «фонема зву-

чит в виде своего оттенка, вариации» (Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 116): <а> в виде [ʼа], [аʼ], [ä] <и> в виде [ы]. «В отношении сигнификативной функции сильная позиция та, в которой фонемы... сохраняют противопоставление и, различаясь, различают значимые единицы языка, а слабая позиция та, в которой противопоставленные фонемы совпадают в одинаковом звучании, перестают различаться и различать значимые единицы языка; тем самым противопоставление нейтрализуется» (Реформатский А. А. Введение в языковедение. 4-е изд. М., 1967. С. 216). Так, <г> и <к> перед гласной находятся в сигнификативно сильной позиции: *лу[г]а — лу[к]а*, а на конце слова в сигнификативно слабой: *лу[к]*.

Другая важная особенность теории фонемы, разрабатываемая А. А. Реформатским, — понятие дифференциальных и интегральных признаков. Фонемы — минимальные последовательно идущие в морфеме друг за другом и линейно вычленимые единицы. «Но фонема, — писал А. А. Реформатский, — тем не менее... сложное явление, так как она состоит из ряда признаков, не существующих самостоятельно, вне фонем, а сосуществующих одновременно в единстве фонемы» (там же, с. 212). Дифференциальные — это различительные признаки,

ими фонемы отличаются от других фонем; например, глухость и твердость у фонемы <т>, которая противопоставлена звонкой <д> и мягкой <т'>. «Реальное содержание фонем данного языка — это совокупность смысло-различительных признаков» (там же), то есть дифференциальных. Но для русской фонемы <ц> признаки глухости и твердости недифференциальные, т. е. нет соответствующих звонкой и мягкой фонем. Такие признаки А. А. Реформатский называл интегральными.

Не входя в число дифференциальных признаков фонемы, интегральные признаки тем не менее «входят в предмет фонологии» (Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. С. 57). В этом утверждении одна из важнейших особенностей интересов А. А. Реформатского (как, впрочем, и других представителей МФШ) — стремление проникнуть во все тонкости собственно фонетической стороны речи. Фонологические выводы, как считает А. А. Реформатский, можно делать только после тщательного фонетического анализа.

А. А. Реформатский создал в Московском университете фонетическую лабораторию и заведовал ею в первые годы ее существования (1954–1959). При его поддержке была образована лаборатория экспериментальной фонетики в Институте русского языка АН СССР. С ее заве-

дующим С. С. Высотским и его работниками А. А. Реформатский постоянно сотрудничал, проводя с ними совместные эксперименты по инструментальному анализу речи. Некоторые фонетические работы А. А. Реформатского появились именно в результате этих наблюдений. Множество тонких фонетических замечаний о характере звуков в различных позициях щедро рассыпано по его работам.

Однако анализ речи, ее особенностей никогда не был для А. А. Реформатского самоцелью. Главным для него всегда был язык, его закономерности. Анализировать поток речи, выделяя последовательные переходы звуковых сегментов, как бы ни был тонок этот анализ, недостаточно для лингвиста. «Любая аппаратура может фиксировать факты линейной речи, что еще очень далеко до определения фактов языка. О языке можно судить не непосредственно, а лишь через построение моделей, исходя из данностей речи, и прежде всего — преодолевая ее линейность. Языком можно владеть и о языке можно думать, но ни видеть, ни осязать язык нельзя. Его нельзя и слышать в прямом перцептивном значении этого слова» (Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика. М., 1987. С. 114).

Язык — основной предмет учебника А. А. Реформатского «Введение в языковедение»

(1-е изд., 1947; 4-е изд., 1967). Студенты филологи нескольких поколений учились по этому учебнику, лучшему по данному курсу. В структуре языка А. А. Реформатский выделяет несколько ярусов — фонетический, морфологический, лексический, синтаксический. В пределах каждого из них имеется своя система. Внутри ярусов могут быть выделены несколько уровней. Так, в фонетическом ярусе выделяются подфонемный уровень (фонетический, вариативный), фонемный (фонематический) и надфонемный (суперсегментный). «Системы отдельных ярусов языковой структуры, взаимодействуя друг с другом, образуют общую систему данного языка» (Реформатский А. А. Введение в языковедение. 4-е изд. М., 1967. С. 31). Сложность этого взаимодействия удивительно четко, просто и логично показана в учебнике. Развивая свои взгляды на язык, А. А. Реформатский в разных своих работах анализирует особенности системных связей в фонетике и орфоэпии, в лексике, топонимии и антропонимии, словообразовании, грамматике, морфологии, письменности.

В 1958 г. А. А. Реформатский в Институте языкознания АН СССР создает и возглавляет сектор структурной и прикладной лингвистики, в котором и работает до конца своих дней. Здесь А. А. Реформатский объединяет

группу своих учеников и друзей, молодых и талантливых лингвистов, среди которых Л. П. Иорданская, И. А. Мельчук, В. П. Нерознак, С. Е. Никитина, Н. В. Подольская, В. Э. Сталтмане, А. В. Суперанская, Р. М. Фрумкина. Учеников А. А. Реформатского невозможно перечислить. Преподавать он начал в 1921 г. Работал в различных московских институтах: 2-м МГПИИЯ (1938–1941), МИФЛИ (1939–1940), МГУ (1943–1944, 1954–1959), МГорПИ (1934–1954), 1-м МГПИИЯ (1942–1947), Литературном институте (1942–1951) и др.

Лектор он был удивительный. На его лекции сбегались студенты других курсов, других факультетов. Его доклады, как и лекции, доставляли слушателям истинное эстетическое наслаждение. Не только строгость и точность мысли, но и прекрасная речь, раскованная и образная, с примерами из любимых и хорошо знакомых ему самых разнообразных областей: литературы, театра, музыки, оперы, живописи, шахмат, охоты...

Эту речь можно легко увидеть и в его работах. Вот как он иллюстрирует метод лингвиста, извлекающего законы языка из речи: «Если мы сфотографируем любой кусок какого-либо речевого акта и будем эту ленту исследовать с точки зрения выявления интонации, то мы окажемся в положении того человека, который в поисках

кочерыжки взял в руки кочан капусты и его оглядывает. Но понятно, что кочерыжку он так и не увидит. Надо снять несколько капустных листьев, чтобы добраться в конце концов до заветной кочерыжки. Конечно, и снятые капустные листья — капуста, а для некоторых целей даже „именно капуста“. Но, не сняв их, кочерыжку все-таки не увидишь... Нечто похожее на „поиски“ при виде целого кочана капусты происходит и при рассмотрении фонограммы речевого акта» (Реформатский А. А. Фонологические этюды. М., 1975. С. 9). Или: «Морфонема Д. С. Уорта {#} — это же подпоручик Киже, который числится, имеет регалии, но „фигуры не имеет“! На фоне этой абстрактной «кижевщины» удивляет «введение двух морфонема {У} и {i}». Как же это, презрев табель о рангах, простенькие фонетические вариации смогли допрыгнуть до чина „морфонема“?» (Там же, с. 115). Или: «...Местоявления — это не конструкторы, не инженеры, а скорее это „уборщики“, „подметальщики“, „ассенизаторы“. Без них не проживешь, но не они зажигают огонь мысли, не они бередают чувства! Но их надо уважать за их полезную работу, за их незаконченную номинативность. ...Местоявления выделяются в особый класс слов-заменителей, которые, как „запасные игроки“ на футбольном поле или „дубле-

ры“ в театре, выходят на поле, когда вынуждено „освобождают игру“ знаменательные слова». (Реформатский А. А. Очерки по фонологии, морфологии и морфологии. М., 1979. С. 69, 89).

А. А. Реформатский любит живое сочное слово и сам пользуется им в совершенстве. Прекрасный знаток литературных стилей, просторечия, диалектов, жаргонов, он часто пользуется «ненаучными» словами, вставляя их в свои научные тексты не только для анализа, иллюстрации, но и ради языковой игры. А когда ему не хватает слов, он придумывает свои: от «Боже мой!» образует «забожемойкал», о статье, известной в нескольких рукописных экземплярах, пишет «рукопринт» (издатели отвергли этот окказионализм, заменив его неуместным «ротапринт»), о необходимости провести фонетический эксперимент пишет: «убедиться воочию, вернее: „воушню“».

Научная речь А. А. Реформатского в высшей степени эмоциональна. Это проявляется самым различным образом. Утверждение: «Из всего сказанного следует, что как бы ни соотносились морфология и синтаксис в разных типах языков, морфология для всех языков обязательна», сделанное другим лингвистом, было бы строго научным выводом, не допускающим эмоций. Но не так для А. А. Реформатского. В конце этого утверждения он ставит восклиц-

цательный знак, показывая свое равнодушие к этим словам отношение, призывая и читателя так же отнестись к выводу.

Изучение языка и стиля А. А. Реформатского уже начато. В недавно вышедшей книге «Язык и личность» (М., 1989) большой раздел посвящен описанию языковой личности А. А. Реформатского. М. В. Панов в исследовании «История русского литературного произношения XVIII–XX вв.» (М., 1990) нарисовал фонетический портрет А. А. Реформатского. Это изучение следует продолжать.

Вся жизнь А. А. Реформатского связана с Москвой. Здесь он

родился, здесь складывались его научные интересы, проходила его педагогическая деятельность, создавалось благодаря его активному участию особое научное направление — Московская лингвистическая школа. Здесь же, на Востряковском кладбище, в юго-западном углу «квадрата 55», и его могила. На памятнике, увенчанном крестом, надпись:

Александр Александрович
Реформатский
языковед
1900–1978

Если Вы будете там, поклонитесь этому замечательному человеку и ученому.



В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА *

Откуда есть пошел Киев... и другие вопросы

О. Н. Трубочёв,
член-корреспондент АН СССР

Поверхностному взгляду может показаться неким камнем преткновения или даже аргументом «против» то, что на самом деле наилучшим образом свидетельствует «за» отстаиваемую нами этимологию *Киевъ* < *Кий*. Известно, что в Древней Руси жители Киева «почему-то» посади название *кыдне*, а, скажем, не *кыцелкне* подобно русскому *киевляне* (некоторые справочные пособия рассматривают это даже как «незакономірність» відойконімних похідних» (см.: Етимологічний словник... С. 78). А между тем при внимательном рассмотрении именно форма *кыдне* замечательна тем, что обнаруживает как бы двойную мотивацию: с одной стороны, она несомненно поставлена в связь с названием города (*Кыѥвъ* – *кыдне*), это невозможно отрицать, но эта мо-

* Начало публикации см. в №№ 1, 2, 5, 1990 г.

тивация имеет все же вторичный (функциональный) характер, а первичная (словообразовательная) мотивация имеет место в отношениях форм *Кыи* — *кыиане*. Это значит, что словообразовательно-этимологически *кыиане* — это «люди Кия». Это означает также и то, что в форме *кы* *ю* не как бы осуществлялась нейтрализация противопоставления, имеющегося между формами *Кыи* — *Кыѣвъ*. На языке науки эта констатация равносильна утверждению, что слова (имена) *Кыи* и *Кыѣвъ* этимологически родственны между собой. Так что украинский язык, сохраняющий эту в сущности древнерусскую пару форм *Киѣ* — *кияни* как норму до наших дней глубокий архаизм, который тоже, между прочим, со своей стороны свидетельствует о реальной личности Кия (*кияни* — это ведь первоначально «люди Кия») и делает маловероятными идеи позднего «захвата» Киева полянами (Golb — Pritsak, *passim*).

Конечно, объективность суждений о Киеве тех древних, начальных времен требует учета и такого аспекта, как Киев и Степь: как Степь смотрела на Киев, в какой мере его знала и как его называла. Ведь Степь этой эпохи в немалой степени совпадает также с Хазарией, контролируемые ею районами Левобережья. Следовательно, вопрос суживается: Киев глазами хазар. Дело в том, что тюркоязычные племена на восток от Днепра имели для Киева свое особое название — *Mān Ker mān*, что значит «большой город». Как и многое другое, связанное со Степью, название это, засвидетельствованное еще в XII веке (Golb — Pritsak, Р. 40), со временем было забыто, но четкий, хотя и косвенный след его употребления на Днепровском Левобережье сохранился в парном ему названии города *Кременчуг* (тюрк.) «малая крепость, крепостца». Скорее всего, именно под названием *Mān Ker mān* «большой город, большая крепость» знали Киев и хазары, тюрки по языку. Это чисто лингвистическое свидетельство весьма важно в историческом отношении, ибо оно делает возможным два вывода, серьезно ослабляющие позиции сторонников «хазарского периода русской истории». Первый: название *Кыѣвъ* было неизвестно соседнему тюркоязычному Востоку. Сам же Киев как город степнякам был, понятно, известен и даже носил у них специальное престижное название «Большой город», или «Большая крепость», превосходя, по-видимому, своими размерами все известное им, в том числе в Хазарии. Отсюда вывод второй: этот город основали не хазары. Для хазар это был престижный большой чужой город, поэтому сомнительно, чтобы они когда-нибудь владели им.

Когда мы после всех этих серьезных размышлений и знакомства с фактами встречаем фразу-утверждение о том, что «Русь завоевала Киев» (Golb — Pritsak. P. 43), мы остро чувствуем произведенную при этом подмену понятий далеко не адекватных, а именно — захват киевского «стола» Игорем Старым нам хотят представить как этническое освоение прежде будто бы чужого славянам Киева.

Надо продолжать усилиями всех специалистов изучать проблему. Наше нынешнее эскизное изложение не может даже назвать все, что может к этому иметь не только прямое, но и косвенное отношение. Косвенные данные тоже крайне важны, не потому что от эпохи тысячелетней давности мало дошло прямых свидетельств, но и потому, что именно косвенные воздействия дают наиболее полную и обширную картину, при минимальной и довольно вероятной необходимой при этом реконструкции.

Если, например, предположить (на мгновение), что мы ничего не знали о древнерусском Киеве, но располагали лишь сведениями о том, что один и тот же древнерусский этнос появился в таких противоположных концах Восточной Европы, как новгородское Приильменье и Тматорокань на Северном Кавказе, то и тогда, наверное, взвесив все и изучив карту, мы пришли бы к заключению, что осуществить это мог только тот, кто длительное время владел плацдармом в Среднем Поднепровье. Без Киева — центра и источника дальнейшего движения — нельзя понять самих древнерусских колонизационных движений, нельзя понять сложного восточнославянского единства. И еще, конечно, многое другое может прочесть внимательный специалист в этой дописанной истории Киева, который оказался в своем «блестящем одипочестве» на днепровском Правобережье. На Украине, в сущности, Киев — один, но — крупный (потому, видимо, и один!), из всех пятидесяти и более довольно мелких Киевов славянских... Но наш Киев не остановился на этом высоком днепровском берегу, а в числе других путевых вех обозначил древний поход за освоение русского Северо-Запада. Ибо, как это ни парадоксально на слух, именно приднепровский Киев двинулся в путь и пришел в незапамятные времена в Псковскую и Новгородскую земли, в Верхнее Поволжье, чтобы раствориться там добрым десятком малых — безвестных и «неперспективных» Киевов.

Мне кажется, что эта миграция названия *Киев* к северу вряд ли может быть оспорена самыми убежденными сторонниками западнославянского происхождения великорусов Великого Новго-

рода. Во всяком случае любые другие объяснения появления Киевоу на Севере и Северо-Западе будут неизбежно громоздкими и неясными, а значит — северными, как учит нас науковедение. Вдобавок, здесь нельзя отговориться ссылкой на изолированное вторжение только этого одного случая, ряд других фактов указывает на то же магистральное направление пути — с Юга на Север, и мы вкратце еще коснемся их дальше. Конечно, и на этом в общем верном пути дело не обходится без дополнительных загадок, и это — в порядке вещей, потому что, как хорошо известно, за каждую одну решаемую проблему приходится платить приобретением нескольких новых проблем. Возьмем тот формальный, чисто лингвистический аспект, что содержавшееся в др.-русск. *Кыѣвъ* звуко сочетание *уј* должно было привести к появлению так называемого напряженного редуцированного перед *ј*. Дальнейшая судьба этого нового напряженного редуцированного сложилась по-разному во вновь разделяющихся частях восточнославянского языкового пространства: на Юге и Юго-Западе (то есть главным образом — на Украине, в Белоруссии и в неширокой пограничной с ними полосе русских говоров) древнее *уј* сохранялось, а к северу и северо-востоку, то есть на всей остальной собственно русской территории, *уј* перешло в *ој*. Стандартные примеры такого развития — укр. *мию*, *крию*, блр. *мыю*, *крыю*, но русск. *мою*, *крою*.

Прямолинейно поставленный вопрос: почему в русском употребляется форма *Киев*, ведь должна была бы быть в силу изложенного — *Коев*? — снимается, однако, при более внимательном учете приводящих обстоятельств. Дело в том, что в русском сочетание звуков *ку* рано перешло в *ки* (ранее была даже высказана мысль, что именно такое уже продвинутое фонетическое состояние запечатлела запись *qiuuob* древнееврейского «киевского письма»). Следовательно, в отличие от сочетаний, где [у] сохранилось и потому подверглось русскому переходу в -о- перед -ј- (ср. выше *мою*, *крою*), для собственно русского языкового развития можно считаться только с формой *Киев*. Правда, не следует думать, что это единственно возможная форма; напротив, и она оказывалась подверженной дальнейшим фонетическим перестройкам, способным изменить ее «литературный» облик в духе известных пар *Россия* — *Расея*, *Сергий* — *Сергей* и многих других, поскольку аналогичную судьбу испытал и напряженный редуцированный переднего ряда в группе -іј- с результатом -еј-. Названия *Киев*, поднавшего в русском языке под эту категорию вторично, это в полном объеме не коснулось. Может быть, при этом сказались именно вторичность данной звуковой характеристики назва-

ния в русской языковой среде? А то мы бы с вами все только и говорили: **Кеев*, **Кеев*... Но нельзя сказать, чтобы этой последней — чисто пародной, пизовой формы не было вообще; в русской диалектологии она известна.

Можно высказать соображение, что между этими формами даже установилась оппозиция не в горизонтальном плане пизовых локальных говоров, а в вертикальном плане социальной диалектологии: *Киев* (высокое, наддиалектное употребление) — *Кеев* (низовое, локальное употребление). Высокое, наддиалектное употребление, надо думать, побуждало, в чем сказывался престиж Киева — матери городов русских. Потому и получилось, наверное, что диалектная русская трактовка *Киев* > *Кејев*, закономерная исторически, как мы видели, и отмеченная исследователями (см.: Селищев А. М. Критические заметки по истории русского языка // А. М. С-в. Избранные труды. М., 1968. С. 194; Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972. С. 241), представляется как бы скудно документированной. Остается неясным, касается ли она, эта диалектная трактовка, всех известных случаев *Киев/Киева/Киево* на Северо-Западе и Севере русского языкового ареала. Эти вопросы было бы неплохо дополнительно обследовать ввиду важности стоящей за ними традиции. Уже сейчас мы можем, впрочем, назвать также отдельные местные отклонения от описанной регулярной трактовки в говорах, скажем, пример огласовки (или только записи?) *Киово*, вместо (или — наряду с) *Киѣво*, к северу от Москвы.

Будучи, так сказать, чисто лексическим, не морфологическим и не грамматическим (в чем и состоит его капитальное отличие, скажем, от местоимения *кѣъ → русск. *кой* как случай категоризованного, то есть непрерывно воспроизводимого), случай с Киевом и его непростой дальнейшей судьбой в русском языковом сознании не привлек, к сожалению, должного внимания наших диалектологов и, видимо, будет исследован не скоро. Достаточно сказать, что судьба напряженных редуцированных, например, в печатающемся выпуске 2-ом (морфологическом) «Диалектологического атласа русского языка» экзemplифицируется практически исключительно на категориях морфологии, грамматики, ср. там карты № 42 (Окончание *-ей* или *-ий*, соответствующее литературному *-ѣй*, в формах существительных и прилагательных), № 99 (Основа в формах настоящего времени и повелительного наклонения глаголов типа *крыть* и в форме повелительного наклонения глаголов типа *пить* (вопрос «Программы» № 31). Ба единичными исключениями (вроде *шия* — *шел*), чисто лекси-

ческие случаи не представлены. [За консультации благодарю Н. Н. Пшеничнову (Институт русского языка АН СССР, Москва)]. Надо иметь в виду, что именно лексические случаи, проскользнувшие сквозь сито фонетико-морфологических преобразований, способны усложнить картину. Как пример этого можно привести некий изолированный архаизм — русскую диалектную форму (Пермь, Сибирь) *коёк* «особая палка, лыжная палка», объясняемую Фасмером именно из более древнего **куйъ* (Фасмер М. Т. II. С. 276), столь долго занимавшего нас в ипостаси человеческого имени и повсеместно известного в русском языке и его говорах в форме *куй*.

Итак, из киевского Полесья распространялись дальнейшие потоки древнерусского народонаселения, формировавшие периферии огромного этнического ареала — Новгородский Север, Окско-Донской Восток,⁴⁶ важность которого видел пронизательный А. А. Шахматов и внушительные контуры которого до сих пор угадываются нами по связям его с дальним предкавказским форпостом Руси — Тмутароканью, по всей этой полузабытой Азово-Черноморской Руси и Руси Донской, залитой и стертой почти бесследно нашествиями кочевников. Думается, что эти маршруты, веером разошедшиеся по великой равнине — на Север, Восток и Юго-Восток, — суть лишь продолжение славянских миграций из Центральной Европы. На этом славянском пути киевское Поднепровье сыграло свою роль важнейшего и, вероятно, длительного плацдарма. Приход к будущему Киеву приднепровскому — это уже такие давние дали, что сейчас в них не будем углубляться. Одно, пожалуй, можно отметить: Киев был Центром миграций в означенных выше направлениях. Но из Среднего Поднепровья не было, пожалуй, сравнимых этнических движений славянства только на Запад, и это отрицательное свидетельство, в свою очередь, дает возможность судить о том, что в основе всех собственно восточнославянских передвижений лежит общий приход с Запада.

Итак, мы постарались сформулировать свой ответ на вопрос, откуда произошел Киев и куда он распространился. Чтобы не создалось ложного впечатления, будто далеко идущие выводы строятся на одном, пусть и важном аргументе, вернемся еще раз на древнюю трассу Киев — Новгород, с привлечением дополнительных аргументов, которые, по нашему мнению, со своей стороны свидетельствуют об этом — с Юга на Север — и никаком другом направлении древнерусского заселения Новгородской земли.

Еще в книге 1962 года «Лингвистический анализ гидронимов

Верхнего Поднепровья» собран достаточно большой материал, позволивший прийти к нетривиальному выводу о том, что западная часть Верхнего Поднепровья в древности лежала в стороне от основных путей восточнославянских продвижений. Старые и типично славянские водные названия распространяются в основном к востоку от Днепра. Образующаяся при этом явная разреженность старой славянской водной номенклатуры между Неманом и Днепром говорит, видимо, о том, что приход на русский Северо-Запад от западных славян через Пономанье маловероятен. Достаточно сказать, что названия на *-ка*, *-ец*, *-ица*, *-ля* (после губных согласных), то есть характерные восточнославянские гидронимические словообразовательные типы распространены в основном к востоку от Днепра, как бы знаменуя собой эту наиболее обжитую полосу на пути с Юга на Север. Обратное распространение — с Севера на Юг, как его теперь порой лихо изображают иные историки русского языка, в высшей степени неприемлемо, даже в рамках днепровского пути. По данным исследования по гидронимии Правобережной Украины, славянская гидронимия на юг от Припяти и Десны (то есть в регионе, частично совпадающем с киевской округой и Средним Поднепровьем) отличается значительной архаичностью, с собственными старыми соответствиями в западнославянском и южнославянском (назовем для примера такие гидронимы, как *Девисябра*, *Жеримышел*, *Чамишел*, *Зеремлянка*, *Стубель*, *Тусталь*, *Сопот*, *Долбока*, *Осой*, чтобы кратко проиллюстрировать их архаичный славянский облик). Археологи ставили вопрос о соответствии этой архаичной славянской гидронимии Среднего Поднепровья ареалу чернолесской археологической культуры. Уже к северу от Припяти эти архаические славянские гидронимы не повторяются.

Таким образом, в ономастике отложилась довольно четкая полоса — если говорить о крайних точках ее — от Волыни до Новгородской земли. Она была прослежена, в частности, Петром Арумаа на примере местных названий с элементом *-гость* (Arumaa P. Sur les principes et méthodes d'hydronymie russe: Les noms en *gost'* // Scando-slavica, т. VI, 1960. P. 144 и сл.). Вся эта любопытная и очевидно древняя группа в основном повторяет рисунок все того же пути к Новгороду. Весьма древние, хотя и не очень многочисленные, примеры встречаются на Волыни и на днепровском правобережье (ср. *Пирогоща* в черте Киева). На левый берег Днепра эти характерные названия переваливают лишь по южнее Чернигова. Количественная «выпешка» их в районе Позгорода должна пониматься как признак колонизации этой

конечной цели всего пути. [Неприемлемы суждения археолога о том, что будто киевские славяне были долгое время «отрезаны» от новгородских и псковских славян верхнеднепровскими балтами (Sedov V. V. *Studia nad etnogenezą Słowian i Kulturą Europy wczesnośredniowiecznej*. T. I. Wrocław etc., 1987. С. 162), — вещь по тем временам невозможная ввиду редкой плотности заселения. Нашим *memento* в таких случаях должна служить сухая реляция Повести временных лет: Въ лѣто 6406 (898) идоша угри мимо Києвъ...].

Очень рано земли теперешней Левобережной Украины оказались под преимущественным контролем тюркских племен. Этот период запечатлелся в серии тюркских местных и водных названий. Они обнаруживают свой более поздний и пришлый характер и, например, не смешиваются с зоной, отмеченной ранее архаической славянской гидронимией южнее Припяти и Десны. Но и при том, что достаточно старый славянский элемент прослеживается на Дону и Северном Донце (гидронимы и материальные следы былой Донской Руси в местной смешанной археологической культуре; см.: Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. Л., 1982. С. 108–109), все же здесь начинали брать верх тюркские или те смешанные с тюркскими этнические элементы, которые принято обозначать именем салтово-маяцкой культуры, а собственно и отождествлять с продвижением Хазарии (Плетнева С. А. Хазары. М., 1976. С. 45). Названия *Кагамлык*, *Кагальник*, то есть попросту «каганьи» реки Юга Украины, уводящие в Подонье, говорят сами за себя до сих пор. Постепенное растворение донского древнерусского этнического элемента в тюркском привело к тому, что Киев оказался лицом к лицу с Хазарским каганатом, и призрак «хазарского периода» русской истории неистребимо маячит в суждениях о той поре. Попытка разобраться, со своей стороны, в этих суждениях, помочь что-то развять, но и выявить вместе с тем неизгладимые «родимые пятна», от которых не уйти никуда, — эта попытка и побудила меня выступить со своими замечаниями, в которых меня всякий раз занимало не только само явление, но и его фон, порой объединяющий многое разрозненное. Вот и о древнем славянском городе Киеве и его конфронтации с Хазарией, как мы видели, преувеличенной и криво толкуемой, нам, пожалуй, удобнее будет судить, если мы привлечем сюжет о другом городе, коренная связь которого с Хазарией, наоборот, была предана искажению и забвению и нуждается в нашей гласности.

Итак, напоследок что-то вроде «истории двух городов». Надо сказать, что случай, значительно более явно, чем Киев, причаст-

нии к реликтовому хазарскому (тюркско-булгарскому) ономастическому наследию и заодно — к «хазарскому» периоду истории Восточной Европы, представляет собой город Волгоград, одно время — Сталинград, а огромную часть своей истории существовавший под изначальным названием *Царицын*. Как город он известен уже четыреста лет (с 1589 г.), но само название места, безусловно, много старше — на добрых тысячу лет, поскольку языковеды-специалисты (хотя тоже, подозреваю, не все) знают, что форма названия *Царицын*, строго говоря, есть не что иное как русская народная этимология, приспособление русского — тюркского, хазарского местного названия *Saryuŝyn*, буквально «желтоватый, беловатый». Этим рациональным объяснением мы обязаны светлему уму русского ученого-востоковеда прошлого века Ильи Николаевича Березина, известного издателя первого «Русского энциклопедического словаря», который выдвинул эту мысль об отражении тюркского цветообозначения *saryu* в ряде местных названий Нижнего Поволжья — даже таких, как *Царев*, ерики большая и малая *Царевка*, далее — *Царицын*, запечатленное в форме *Сарычин* в татарской рукописи «*Tavārih-i Bulğarîja*», и даже — *Саратов*, собственно *Sarytau* «желтая гора». Эту связную концепцию И. Н. Березин обнародовал еще в 1850-м году в своей серии «Ханские ярлыки» (Березин И. Н. Ханские ярлыки. III. Внутреннее устройство Золотой Орды (по ханским ярлыкам). СПб., 1850. С. 2–3; см. также: «*Die innere Einrichtung der golden Orda. Nach Herren Berjósín (Berésin)* // *Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland*. Bd. XI. Heft 2. Berlin, 1852. 181–182). Нельзя сказать, чтобы память последующих поколений была благосклонна к Березину. Толкование *Саратов-Sarytau* такой специалист, как Фасмер, например, приводит потом уже как «старое толкование» (без автора), а березинская тюркская этимология названия *Царицын* была просто забыта, ее Фасмер не знал, и пришлось не без труда выуживать ее из явно периферийной литературы (ср. Németh Gy. *A honfoglaló magyarság kialakulása*. Budapest, 1930. С. 212; Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 88, в. в. Волгоград; Kiss L... II. С. 775: *Volgograd*).

Существует, между прочим, традиция привязывать это хазарское название царской столицы *Saryuŝyn* (вариант — *Sarıgein*) к самым низовьям Волги, близ Астрахани, к тому же — на левом берегу (см. карту «*Khazaria and neighbouring regions in the first half of the tenth century*» в книге Голба — Прицака: *Golb — Pritsak*. Р. X; также см. р. 155). Это едва ли верно (если не допустить, впрочем, компромиссное решение в том смысле, что у полуко-

чевников-хазар стабильность ставки правителя, в том числе — столицы, была понятием относительным, а значит, справедливы поиски и в окрестностях Астрахани, и в других местах, одно из которых занимает нас здесь), и наиболее вероятным представляется старое отождествление хазарского *Saryŭsyn* именно с Царицыном, как то подсказывает менее известный из литературы местный топонимический ландшафт: в Царицыне-Сталинграде-Волгограде есть (по сей день, кажется, еще не совсем пересохла) речка Царица. И она помогает окончательно разделиться с «монархической» этимологией Царицына, на которой кончаются сведения (*Царицын* — от реки *Царица*...) не только для журналистов номера 15-го «Огонька» за 1989-й год, комментировавших волгоградское интервью писателя Ю. Бондарева, но и для Фасмера (см. т. IV русского издания его словаря, s. v. *Царицын*, где только мое краткое дополнение углубляет этимологию).

Дело в том, что старый этот гидроним *Царица* лишь внешне уподоблен слову-титulu *царица*, в действительности же тут совершенно очевидно представлено обыкновенное тюркское *Sary-su* «желтая вода, река». Те, кто знают Волгоград, а особенно — Сталинград довоенных лет, имеют представление о преимущественно песчаной почве его правого (горного) берега, легко вздымавшейся жаркими ветрами-суховьями (для автора этих строк сталинградские песчаные бури — одно из неизгладимых воспоминаний детства).

Возвращаясь к лингвистическому анализу, отметим, что перед нами то, что немцы называют «Paradebeispiel» или лучше — «Schulbeispiel», школьный пример, он же и яркий до парадности: давние русские переселенцы, пленные, торговые люди, заставшие здесь название *Sarysu*, осмыслили его как форму винительного падежа на -у от основы женского рода на -а. В соответствии с этой парадигматической логикой было «подстроено» уже собственное, не существовавшее ранее *Царица*, сквозь которое просматривается промежуточное и неудобное русскому уху своей малопонятностью **Сарыса*/**Сариса*. Это, в свою очередь, предредило судьбу вторичного осмысления названия всего места, важного своим положением на древнем перевалочном волго-донском пути и населенного, по-видимому, с незапамятных времен, а не с того 1589-го года — года первого упоминания Царицына уже как Царицына. Так возник Царицын в русской географической номенклатуре.

Городу не везло, о его страданиях от войн и лихолетий знают все. Меньше знают о том, как не повезло его древнему имени (даже речушка Царица, на моей только памяти, и та — то не-

реименовывалась в 30-е годы в «Пионерку», то обратно — в *Царицу*). И по сей день имя города несет на себе печать острого дефицита культуры и правильных знаний, хотя вокруг так много делается и говорится о гласности, реабилитации, возвращении культурных ценностей и имен. Ведь если бы не эта простодушная вера всех — от власти имущих до рядовых горожан, в то, что *Царицын* — «от царицы», «от царей», то Сталинград еще тогда, при Хрущеве, в начале 60-х годов, был бы безболезненно переименован обратно в древний *Царицын* «Желто-град» и не понадобилось бы придумывать в общем искусственный топоним: *Волго-град* (ведь на Волге все города — «волго-грады»...).

Мы, академические этимологи, опоздали (или тогда нас просто никто не спрашивал? А много ли спрашивают нас сейчас?), поэтому и мы виноваты в этом. А это как раз тоже такой исключительный случай, когда есть одна этимология и у нее соблюдены все необходимые критерии: исторический, языковой, географический. Взгляните на карту: неподалеку от царицынской излучины Волги пролегла излучина Дона, а на Дону в начале IX века документирован хазарский *Сар-кел*, буквально (по-древнерусски) — *Белая Вежа*, то есть «белый дом». Начав от Саркела и минуя наш *Saryŭsup/Царицын* (он же — *Саксинъ* Лаврентьевской летописи, ПСРЛ, изд. 2-е. Т. I. Л., 1926. Стб. 453) вверх по Волге, находим тоже — на правом, песчаном берегу и тоже — в ареале тюркской топонимии уже упоминавшийся *Саратос* < *Sarytau*. Речь идет не только о правобережности и песчаности, доподлинно отпечатавшейся в этимологии Саратова и Сарыхшына/Царицына, но и о глубокой принадлежности к истории и к нашему национальному самосознанию, то есть к чему-то такому, что надлежало бы сберегать, а не вытравливать.

В истории соединились — на какой-то момент — ни в чем как будто не схожие Киев и Царицын, и их соединение показалось исследователю поучительным и далеким от произвола. Историю не переписешь заново, что было, то — было: и «неразумные хазары», как назвал их наш пылкий поэт, и «смысленные поляне», как нарек их древний летописец, — все были; одни, правда, словно затем только, чтобы исчезнуть, раствориться без остатка, кроме разве что в топонимии, в онемевших названиях мест, давно населенных другим народом, с другой речью; другие живут, множатся и поныне. И все-таки по-человечески мы не можем отказать себе в удовольствии присудить авторство Киеву славянам, в их числе — «смысленым» полянам, потомки которых здравствуют на днепровских берегах. Тем паче, что и научная этимология не велит иначе.

«На Покровке я молился...»*

М. В. Горбаневский,
кандидат филологических наук

Вполне логично в ходе нашей топонимической прогулки по Москве рассказать и о новой трактовке названия Чертолье. Это имя старомосковского урочища в районе современной станции метро «Кропоткинская» (его одно время носила и улица Пречистенка: Чертолье или Черторье). Такое же название носит уже давно забранный в трубу ручей Черторой (Черторый). В «официальной» топонимии наименование урочища дошло до наших времен в виде топонима Чертольский переулоч. Всегда считалось, что весь этот участок пересеченной местности в старой Москве связан своим именем с речкой, ручьем Черторый и что оно — производное от слов черт рыл. Была одновременно известна версия и о том, что наименование Чертолья восходит якобы к какой-то черте (границе), проходившей по оврагу. Пытались москвоведы объяснить, толковать топоним Чертолье и по-иному...

Но вот недавно, в 1989 году, на Всесоюзной конференции «Исторические названия — памятники культуры» (о которой рассказал и журнал «Русская речь») доктор исторических наук М. Г. Рабинович, признанный знаток истории столицы, выдвинул новую гипотезу. Он обратил внимание специалистов на необходимость сопоставить данные топонимики, географии, археологии и истории религии. М. Г. Рабинович подчеркивает, что на правом берегу ручья Чертороя в районе современных Обыденских переулков и сейчас еще прослеживается небольшое городище с крутыми склонами и расплывшимся валом. В центре городища стоит каменная церковь Ильи Обыденного (по ней-то и даны имена переулкам), построенная на месте более древней церкви с тем же названием. Историки и этнографы установили, что церкви Ильи Пророка ставились в древности на местах жертвенников Перуна, повелителя грозы и грома в славянской мифологии. Кстати, именно образ Ильи в эпоху двоеверия заменил Перуна... Не забудем и то, что Перун считался также покровителем княжеской дружины; храмы его почти всегда ставились на возвышенностях. М. Г. Рабинович, сопоставляя эти

* Окопание. См.: № 5, 1990.

и другие факты, предлагает новое для москвоведения решение загадки топонима Чертолье, связывая его с местонахождением древнего дохристианского культового сооружения. Впрочем, Михаил Григорьевич, опытный исследователь, не считает свою гипотезу окончательной и формулирует ее в виде вполне логичного вопроса: не относится ли корень *черт* в названии *Чертолье* к повергнутому Перуну, на месте святилища которого впоследствии была выстроена в один день («обыденная») христианская церковь по какому-то особому случаю, как это было принято в древности? и будет ли у нас основание тогда считать имя Чертольского переуллка тоже агнотопонимом, но только относящимся еще к дохристианской эпохе?

Среди московских религиозных топонимов с явно стертой для посетителей языка мотивировкой есть и такие имена, которые стали литературными символами, каждый — благодаря кому-то из выдающихся русских писателей (вспомним булгаковские Патриаршие пруды, которые, однако, Моссовет еще продолжает именовать на своем «ланг де буа» Пионерскими...). Наглядным примером, вероятно, можно считать и Большой Харитоньевский переуллок. Существовал в той части Москвы, что расположена вблизи станции метро «Кировская» и Чистопрудного бульвара, еще и Малый Харитоньевский переуллок, — правда, только до 1960 года, когда его переименовали в улицу Грибоедова. Вот он, характер эпохи: благодаря размещенным на ней «важным» учреждениям и утрате прежнего имени улица Грибоедова уже не связывается в сознании москвичей с историей храма в слободе Огородники. Устойчивая ассоциация иная: улица Грибоедова — Дворец бракосочетания и Высшая аттестационная комиссия.

Но Большой Харитоньевский переуллок жив — как и во времена Александра Сергеевича Пушкина. Помните описание въезда Лариных в Москву в седьмой главе «Евгения Онегина»?

Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри...

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился...

«У Харитонья в переулке» означает не что иное, как «в переулке близ церкви святого Харитония». Действительно, стоял тут

некогда храм Харитония-исповедника. Вот по нему переулочек и получил свое имя... Большинство московских церквей имело в своем полном наименовании вторую, светскую часть — для уточнения месторасположения, как важный внутригородской ориентир: Харитония «что в Огородниках», Николы «что на Песках», Трифона «что в Напрудном», Рождества «что в Путинках» и т. д. Благодаря им мы имеем возможность восстановить многие неофициальные и полуофициальные московские топонимы, в первую очередь — названия урочищ, территорий, давно ушедшие из повседневной московской речи. (В 1985 году интересную статью на близкую тему в сборнике «Географические названия в Москве» опубликовала П. В. Подольская).

Одновременно замечу, что лингвистический и историко-культурный феномен, когда официальный термин православия, так или иначе пришедший к нам в речь тысячу лет тому назад в связи с принятием христианства, образует вкупе с народным названием урочища старомосковское наименование храма (Святой Георгий + Красная горка = церковь св. Георгия на Красной горке), является примером «христианизации» древнерусского языка после 988 года, напоминает о контактах, сосуществовании и взаимовлиянии древнерусского и старославянского языков. На этот счет известно немало интересных замечаний академика В. В. Виноградова. Приведу небольшой отрывок из его статьи «Толковые словари русского языка»:

«Элементы книжно-славянского языка постепенно, а наиболее интенсивно в период образования национального русского языка слились с народным русским языком. Это слияние не только не ограничило, не сузило народный фундамент русской литературной речи, но напротив, обогатило инвентарь его выразительных средств». (Виноградов В. В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. М., 1977. С. 207).

Так и кажется, что сказано это было Виктором Владимировичем и о старинной московской религиозной топонимии, и о наименованиях храмов с компонентом в виде народного названия урочища...

В этой связи хотел бы привести любопытный пример ложной омографической ассоциации, услышанный мною от одного иностранного стажера Института русского языка им. А. С. Пушкина, построенный на избыточных, но неверных знаниях. Говоря о церкви Всех Святых «что на Кулишках» (она стоит прямо близ одного из входов на станцию метро «Площадь Ногина» — в самом начале улицы Солянки), этот иностранец-русист сказал с явным удовлетворением от своей «информированности», что имя храма связано

с известным русским выражением «у черта на куличках» и даже более того — с идеей борьбы божьего мира с ангелом тьмы и зла. «Все святые борются с дьяволом...» — так заключил свою мысль стажер Х.

Конечно, у названия «на Кулишках» есть связь с выражением «у черта на куличках», однако очень отдаленная и опосредованная. Что же касается противостояния всех святых дьяволу, то эта идея как мотив образования имени храма — типичный пример «народной этимологии».

Мы должны помнить, что церковь эта была основана в 1380 году (перестроена в 1382 году) в честь исторической победы русичей над ордынцами и в память о всех воинах, сложивших головы свои на Куликовом поле. Кстати, вторая часть названия церкви не есть пример перенесения топонима *Куликово* поле в Москву, ибо это — вполне московский, наш собственный историко-географический ориентир. Лингвистам хорошо известно вышедшее из активного употребления, из русской речи слово *кулига*. В настоящее время оно встречается только в некоторых народных говорах. Значения слова *кулига* различны: «небольшая поляна в лесу, расчищенная под пашню», «низменный берег, пойма в излучине реки», «луг на берегу реки». Нередко народный географический термин *кулига* попадал и в состав топонимов: древняя Москва в этом смысле — не исключение. Одновременно несколько участков территории города и его предместий, несколько московских урочищ носили имя *Кулишки*, *Кулижки*, *Кулички*. Такое название принадлежало и местности у впадения речки Рачки в Москву-реку и части обширного заливного Васильевского луга, где был выстроен во второй половине XVIII века известный Воспитательный дом. Имя Всехсвятской церкви, о которой идет речь, нуждалось в уточнении на месторасположение; так возникло словосочетание Всех Святых «что на Кулишках». Ведь это была не единственная церковь Всех Святых в Москве и ее окрестностях: достаточно вспомнить об одноименном храме близ нынешней станции метро «Сокол», — том самом, который имя свое передал всему населенному пункту, где его построили в 1683 году, а именно — селу Всехсвятскому (вариант — Всесвятскому).

Вот и следующая разновидность стирания религиозной основы в московских топонимах. Довольно часто некоторые из них воспринимаются нынешними москвичами (а население столицы не только атеизировано, но и во многом лишено даже интереса к своему прошлому, к истории духовной культуры, лишено историко-культурных корней) как отантропонимические, то есть как образовавшиеся от имен и фамилий людей. Добавим, что иногда такие топонимы счи-

таются чуть ли не мемориальными. Это связано, разумеется, со вбитой за последние семьдесят лет в наши головы модой на мемориализацию топонимии, чуть не превратившей карту Москвы в топонимический пантеон. Пример подобного переосмысления мы с вами уже разобрали, когда речь зашла об имени Зачатьевского переулка. Но происходит это и с более известными названиями московских улиц...

Петровка — одна из центральных транспортных артерий города. Имя ее — пример старомосковского топонима с формантом *-ка* (Волхонка, Знаменка, Ильинка, Варварка, Покровка и т. п.). Несколько лет назад, выполняя поручение редакции одного из еженедельников, мне довелось провести опрос большой группы москвичей. Нас интересовало отношение жителей к общим, «глобальным» проблемам городской топонимии. Но были в том вопроснике и пункты, касавшиеся отдельных топонимов. Около 40% информантов, отвечая на вопрос об устойчивых ассоциациях, которые у них вызывает словосочетание *улица Петровка*, сказали: «милиция, МУР, уголовный розыск». И лишь 5% знало настоящую историю топонима *Петровка*. Да, тот факт, что на Петровке, 38 расположен легендарный МУР, воспетый сотнями журналистов и десятками литераторов, на общем фоне нигилистического отношения к истории города, на фоне деградации нашей общей культуры не мог не затенить истинную мотивировку названия Петровка.

Однако такой внутригородской топоним возник в Москве еще задолго до МУРа — в XVII веке. Рождением своим он обязан старинному Высокопетровскому монастырю. Второй вариант названия самого монастыря — Петровский «на Высоком месте»: мотивировка второй части связана с географической характеристикой, ибо монастырь был поставлен действительно на высоком по отношению к долине реки Неглинки месте. Основатель Высокопетровского мужского монастыря — великий князь Дмитрий Иванович (он заложил его в 1380 году в честь победы в Куликовской битве). Сейчас в зданиях бывшего монастыря работает филиал Литературного музея.

Но «основное» название монастыря и, соответственно, сам топоним *Петровка* связаны с именем *Петр*. Однако, разумеется, не с простым антропонимом, а с сакрализированным: до сих пор продолжает радовать взор здание дошедшего до наших дней собора Петра Митрополита. Храм был построен в конце XVII века. Митрополит Петр (скончался в 1326 году) перевел митрополичью кафедру из Владимира в Москву; канонизирован Русской Православной Церковью.

Теперь с Петровки вернемся в Замоскворечье. Согласитесь,

целовко слышать, что некоторые жители Москвы (привожу данные того же социологического опроса) связывают имя старинной Пятницкой улицы со словом *пятница* — «пятый день недели»...

Разумеется, мотивировка топонима, кстати, существующего с XVIII века, совершенно иная. Он своим происхождением также обязан православию.

Существовала когда-то в этой части старой Москвы Пятницкая слобода, а в ней — храм Святой Параскевы Пятницы, очень почитаемой православными. Сам культ Параскевы Пятницы уходит корнями в распространенный в древности славянский языческий образ Мокоши, главного женского божества славянского пантеона. Такая взаимосвязь — не редкость: вспомним языческого бога древних славян Велеса и христианского святого Власия — покровителей скотоводов...

Самой Пятницкой церкви, по которой называли улицу, уже не существует. Она возвышалась там, где расположен ныне вестибюль станции метро «Новокузнецкая». Святая Параскева Пятница была, в частности, покровительницей и путешественников: не случайно, что именно ей посвящен небольшой красивый храм при оживленной Ярославской дороге — у подножия холма Маковец, на котором стоит Троице-Сергиева лавра.

Праздник Параскевы Пятницы отмечается 27 октября по новому стилю. Параскеву (народный вариант — Парасковею) Пятницу называли часто *грязниха*, *порошиха*: «...На Параскеву Пятницу большая грязь ...Параскева Пятница — четыре седмицы до зимы. ...Семь погод на дворе — сеет, веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет, снизу метет». Вот она какая, Параскева Пятница, по приметам русского народного календаря. Однако и эти, уже весьма далекие от религиозных реалий, представления наших предков, вряд ли знакомы нынешнему москвичу, живущему даже на Пятницкой улице. Да и только ли москвичу? Исчезают одновременно интересные, образные русские речения...

Надо сказать, что порой стирание истинной мотивировки конкретного религиозного топонима в Москве могло начаться и до бурных революционных событий. Пример тому — название Якиманка. Сейчас на карте столицы сохранилась лишь Малая Якиманка, а Большая Якиманка утрачена. Нет, сама-то улица в Замоскворечье существует, но ей поменяли имя. Сейчас мы знаем ее как улицу Димитрова. Метаморфоза, происшедшая с топонимом Якиманка еще до революции, — пример известный, однако все же рискну напомнить его читателям.

В слове *Якиманка* две производящие основы-антропонима: мужское имя *Иоаким* и женское — *Анна*. Имена принадлежали

родителям Пресвятой богородицы девы Марии. (Чуть отвлекаясь в сторону, скажу, что имя *Анна*, по данным ЮНЕСКО, — одно из самых распространенных на планете: его носят более 90 миллионов жительниц Земли в самых разных странах мира). Особое почитание христианами девы Марии распространилось и на ее отца и мать.

В старом Замоскворечье в XVII–XVIII веках существовала Голутвинская (или Голутвина) слобода — там, где ныне проходит улица Димитрова. В ней прихожане построили церковь — Благовещенскую, в честь одного из двенадцатых праздников, Благовещения, отмечаемого 7 апреля по новому стилю. А вот придел в церкви был освящен в честь Иоакима и Анны... Староцерковное имя Иоаким в русской народной речи произносилось как Аким и даже Яким. Так что придел Благовещенской церкви в народе называли — Яким-Анны. По пему-то и улица стала зваться *Якиманкой*...

Последний пример, который мне хочется привести в конце нашей топонимической прогулки по Москве, любопытен иной чертой. Специфика его состоит, если можно так выразиться, в «обратном» стирании религиозных ассоциаций старомосковского топонима. Здесь мы сталкиваемся практически со своеобразной сакрализацией обычного («светского») народного названия, не имеющего отношения к религии. Сталкиваемся с сакрализацией в устойчивой форме, происходящей в устной речи и в сознании многих носителей русского языка, жителей Москвы. Я говорю о так называемой Елоховской церкви.

Однако прежде, чем разобрать лингвистический пример, обратимся к исторической справке, касающейся данного храма.

Во-первых, настоящее и официальное именование храма — Богоявленский Патриарший собор. Первое храмовое деревянное строение возведено здесь, в районе современной станции метро «Бауманская», еще в середине XVII века. Во-вторых, предназначалось оно для приходской церкви подмосковной царской слободы Елохово: обратите внимание, храма еще нет, — а топоним уже «уствует... С 1717 по 1731 год строился другой, каменный храм, начатый при содействии императора Петра Великого и царевны Параскевы Иоанновны. В 1790 году пристроили к церкви трапезную и четырехъярусную колокольню. Обновлен был храм в 1837–1854 годах. С 1945 года Богоявленская церковь является кафедральным собором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Почему официальное имя собора именно таково — Богоявленский? Потому что главный его алтарь посвящен Святому Богоявлению, Крещению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

(В храме есть еще два придела: левый — во имя Святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, а правый — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы). Так что главный престольный праздник Елоховской церкви отмечается в день Богоявления — 19 января по новому стилю.

Итак, Богоявленский собор в устной речи очень часто называют Елоховской церковью. А как при этом объясняется имя храма? Опрос информантов-москвичей показал, что около 70% людей (в число информантов попали в основном, разумеется, люди, не верующие или же относящиеся равнодушно как к вере, так и к неверию), связывают название храма с какими-то им «точно не известными религиозными терминами или даже праздниками». Другими словами, палицо, как вы видите, — псевдосакрализация слова *Елоховская*. Это говорит о многом...

Память о старинной Елоховской слободе сейчас сохраняется в топонимии лишь в имени Елоховского проезда (а раньше были Елоховская улица, переименованная в 1918 году в Бауманскую, и Елоховская площадь). С какими географическими названиями перекликаются эти московские топонимы? С такими, каких немало на карте России — Елхово, Елох, Елховка: такие наименования носят деревни и села в различных областях РСФСР. В Ульяновской области есть даже деревня Елховский Куст! Чем же все они мотивированы, какое слово легло в основу таких топонимов?

Оказывается, что перед нами так называемые фитотопонимы, то есть географические названия, отражающие местную флору, растительный мир. Во многих русских говорах дерево ольху называют при помощи диалектной формы *ѣлха*. Существует и диалектизм *елох* — «лиственный лес среди луга» (первоначально им называли, скорее всего, ольховые рощи, а позже уже просто лиственные леса), «топкое место, болотистый покос» (Словарь русских народных говоров. Вып. 8. Л., 1972. С. 347).

В речи и сознании части москвичей фитотопоним *Елохово*, *Елоховская* превратился, переосмыслился в агитопоним, основа которого никогда не была связана с православием. Причины метаморфозы очевидны, но все же не будем эти процессы в топонимии Москвы считать завершенными. Ибо в итоге все должно вернуться на круги своя!

Строя свое стихотворение (строчка из которого стала названием моей статьи) на старинных московских топонимах, многих из которых уже нет на светлом челе столицы, Булат Окуджава завершает его так:

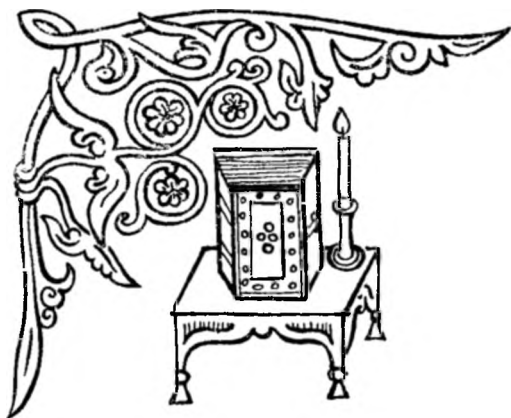
Не выходят из сознания
(хоть иные времена)
эти древние названия,
словно дедов имена.

.
И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.

Здесь наши мечты и мнения с поэтом расходятся. Конечно, его суждение — просто емкая метафора. В другом стихотворении он делает попытку объясниться: «Переулоч Божественным назван мной ддя чего?» И все же...

Возвращение исторической памяти, духовности, возрождение утраченных памятников, в том числе и в топонимии, восстановление и самих названий, и исторических корней сохранившихся топонимов, — вот цель, к которой нужно стремиться!

В этой проблеме остается еще немало спорных вопросов. Но надо надеяться, что именно такое — единственно логичное, здоровое и мудрое! — решение примут новые городские власти столицы, народные избранники. Завершив нашу топонимическую прогулку по Москве пророческими словами святого Иоанна Златоуста, кажется, как нельзя лучше подходящими к нашей теме: «Знаю, что людей грубых, пристрастных к настоящему, прилепившихся к земле и раболепствующих чувственным удовольствиям, а к духовным предметам не очень расположенных, настоящее слово покажется необычным и странным; они будут и громко смеяться и осуждать нас, как будто мы с самого пачала речи говорим невероятное... Поэтому не высказывай мне имеющегося у тебя теперь суждения, но подожди следствий наших слов, и тогда ты в состоянии будешь произнести неложный приговор, так как ничто по неведению не помсшает истипному суждению».



«Русская Библия» Франциска Скорины

Е. М. Верещагин,
доктор филологических наук

О Библии, этой книге книг, сказано множество возвышенных слов. Действительно, ее роль в становлении и развитии европейской, в том числе и славянской, культуры до сих пор ни с чем не сравнима.

Ради стройности дальнейшего изложения напомним, что Библия разделяется на две части. В первой, — она называется Ветхим Заветом, — содержатся книги, составленные до Рождества Христова, а во второй, в Новом Завете, — после Рождества.

Новый Завет состоит из четырех евангельских повествований, Деяний и Посланий апостолов, а также Апокалипсиса; новозаветные книги (за исключением последней) христианский мир, как католический, так и православный, всегда хорошо знал. Так, первоучители Кирилл и Мефодий уже во второй половине IX в. перевели на общеславянский литературный язык Евангелие и Апостол, которые затем постоянно переписывались и ежедневно читались (не только в храме, но и в монашеской келье или в доме мирянина).

Что же касается Ветхого Завета, то эта часть Библии вплоть до XV в. христианам была известна гораздо меньше. Конечно, была широко распространена Псалтырь (а Псалтырь входит именно в Ветхий Завет). Кроме того, за богослужениями в определенные дни вычитывались небольшие ветхозаветные фрагменты (паримии); паримии переводили и помнили. Весь остальной — очень обширный — объем Ветхого Завета оставался, к сожалению, недоступным. В частности, православные славяне были лишены полного текста Ветхого Завета до 1499 года. В указанном году участники литературного кружка повгородского архиепископа Геннадия (ок. 1410—1505) завершили, наконец, крайне трудоемкое дело: они собрали имевшиеся и выполнили новые переводы, а также переписали несколько копий полного Ветхого Завета на церковнославянском языке. По справедливости эту дату — 1499 год — следовало бы хорошенько запомнить. Соединив в одной грандиозной рукописи Ветхий и Новый Завет, славяне православной веры впервые создали свою собственную полную Библию.

По своей доступности и воздействию рукопись несопоставима с печатной книгой. Поэтому когда Франциск Скорина — первым! — приступил к систематическому печатанию ветхозаветных книг на церковнославянском языке, эта его, Скорининская, Библия стала для восточного (частично и южного) славянства таким же выдающимся событием, как предшествующая Геннадиевская Библия и последующая Острожская.

Следовательно, год 1990-й — это по праву год Франциска Скорины. 500-летие со дня рождения великого гуманиста и просветителя (а он родился до 1490 года) светло празднуется советской, а в рамках ЮНЕСКО и международной общественностью.

Франциск Скорина происходит из города Полоцка, одного из древнейших городов Киевской Руси. Был студентом Краковского университета, получил степень бакалавра. В 1512 г. в Падуе был удостоен ученой степени доктора медицинских наук. Во всех своих изданиях Скорина, говоря о себе, упоминает про эту степень, равно как и про то, что он — полочанин. Он подписывается так: «в лекарских науках доктор Франциск, Скоринин сын, с Полоцка». (Здесь и дальше цитируемые тексты воспроизводятся в упрощенном виде.)

Потом он отправляется в Прагу, где, начиная с 1517 года, в течение двух с половиной лет, — до невероятия быстро, по 60—80 страниц в месяц! — одну за другой издает ветхозаветные книги. Сначала Псалтырь, потом книгу Иова, потом книгу Притчей Соломоновых, потом книгу Премудростей Иисуса, сына Сирахова,

и так далее вплоть до книги пророка Даниила; всего 20 отдельных изданий.

В 1520–25 гг. Скорина продолжает свою издательскую деятельность в Вильне, где печатает Апостол и «Малую подорожную книжку» (в составе которой, между прочим, переиздает Псалтырь). После этого он, в силу обстоятельств, от издательских трудов вынужден был отойти. Умер просветитель около 1541 г.

Ни год рождения, ни год смерти Франциска Скорины нигде не зафиксированы точно. Зато мы определенно знаем не только год, но и день, когда вышла в свет его самая первая библейская книга. В выходных данных читаем: «лета по Божьем нарожению тысящного пятьсотого и сегомонадесять, месяца августа дня шестаго», и эту дату — 1517 г. — также следовало бы запомнить. Давайте поставим ее в ряд с другими первыми славянскими изданиями: в 1488 г. в Праге вышла в свет первая печатная (на латинице) Библия на чешском языке; с 1491 г. начинается книгопечатание кириллицей (Швайпольт Фиоль выпускает в Кракове Осмогласник и Часословец); 1517–19 гг. — время появления Скоринской «Русской Библии».

Титульный лист напечатан киноварью, замечательным и совершенно оригинальным шрифтом:

«Бивлия руска, выложена доктором Франциском Скоринною из славного града Полоцька, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению».

«Богу ко чти» означает: ради почитания Бога, а «люди посполитые» — это простые люди, весь народ. Очень примечательно, что Скорина среди читателей своей Библии видит не только духовенство, не только князей, не одну лишь шляхту, но и весь русский народ.

Эта обращенность Библии к любому человеку видна в том, что все свои предисловия и послесловия (а ими снабжена каждая из выпущенных им в Праге двадцати книг) Скорина писал разговорной западнорусской речью — точнее сказать, на «простой мове», на сложившемся в Великом княжестве Литовском литературном языке, ранее употребительном лишь в документах или в бытовой переписке. В дальнейшем «проста мова» станет важнейшим источником формирования современных белорусского и украинского литературных языков; она частично повлияла и на русский литературный язык.

Вот, например, отрывок из «Предисловия в Псалтырь» 1517 года. Скорина сочинил его самостоятельно, причем приводимый фрагмент содержит рифму, то есть представляет собой вирши, стихи. В них возвеличивается нравственное достоинство Псалтыри

и говорится, что псалмы:

всякий немощи духовныи и телесныи уздравляют,
душу и смыслы освещают,
гнев и ярость умирят,
мир и покои чинят,
смутку и печаль отгоняют,
чувствие в молитвах дадут,
людей в приязнь зводят,
ласку и милость укрепляют,
бесы изгоняют,
ангелы на помощь призывают.

«Смутку» — то же, что смущение, огорчение, а «ласка» — это любовь. Легко заметить, что «проста мова» Скорины представляет собой одно из состояний белорусского литературного языка.

Отсюда вполне понятно, что в силу своего языка и происхождения Франциск Скорина прежде всего принадлежит белорусской культуре. Прекрасно, что белорусские ученые и издатели выпустили к юбилею столько великолепных книг! «Слоуник мовы Скарыны» (2 тт., Минск, 1977, 1984), «Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік» (Минск, 1988), «Франциск Скорина — белорусский гуманист, просветитель, первопечатник» (Минск, 1989) — таковы лишь фундаментальные публикации.

В то же время наследие Скорины имеет огромное значение и для двух других восточнославянских народов — украинского и русского. Во-первых, сам первопечатник для обозначения круга читателей всегда употребляет собирательное имя *Русь* («братия моя Русь», «русский язык»). Во-вторых, он явно надеялся, что его книги будут читать не только «литвины», то есть граждане Великого княжества Литовского, но и подданные Московского государства. Имеется глухое свидетельство о том, что Скорина даже побывал в Москве. Человек, который вложил свои деньги в предприятие первопечатника, — Богдан, Ошков сын, — был в Москве безусловно и, конечно, едва ли устоял перед искушением открыть для книг Скорины рынок сбыта. К сожалению, эти книги с самого начала были у православных на подозрении. Даже жившие в Литве князь-эмигрант А. М. Курбский и старец Артемий говорили об их «препорченности». Попытка проникнуть в Московию потерпела фиаско. Что, однако, совершенно непреложно свидетельствует о предназначенности Библии Скорины всему славянству, — это сохраненный первопечатником церковнославянский язык. Лишь предисловия и послесловия написаны в большинстве изданий «простою мовою», а, скажем, текст Псалтыри — такой же, как в Геннадиевской Библии. Итак, в-третьих, вклад Скорины в единство пра-

восславного славянства состоит в том, что он печатал свои книги на сакральном церковнославянском языке.

Первый напечатанный им церковнославянский текст — это знаменитый псалом «Блажен муж». Рассмотрим его. Действительно ли заслуживает Псалтырь тех похвал, которые ей расточает Скорина? Сделаем, однако, одно практическое отступление. Нам представляется важным избежать сумятицы в головах читателей, и поэтому ниже мы помещаем (в упрощенной передаче) не Скорининский, а синодальный текст. Между Скорининской и синодальной версиями имеются лишь незначительные различия. Синодальная Псалтырь сейчас повсеместно употребляется во всех храмах Русской Православной Церкви.

Стихи псалма пронумерованы обычным порядком. Графическое расположение призвано помочь постижению смысла и стихотворной природы песнопения. По смыслу псалом распадается на три части, и границы между частями показаны пробелом,

(1) Блажен муж,

иже не иде на совет нечестивых,
и на путей грешных не ста,
и на седилищи губителей не сѣде,

(2) но в заковѣ Господни воля его,
и в законѣ Его поучится день и ночь.

(3) И будет яко древо,
насажденное при исходящих вод,
ѣже плод свой даст во время свое,
и лист его не отпадѣт,
и вся, елика аще творит, успеет.

(4) Не тако нечестивии, не тако,
но яко прах, егѣже возмстаетъ ветер от лица земли.

(5) Сего ради не воскреснут нечестивии на суд,
ниже грешницы в советъ праведныхъ.

(6) Яко весть Господь путь праведныхъ,
и путь нечестивыхъ погибнетъ.

В церковнославянском языке буква *е* никогда не читается как *ѣ*, поэтому будьте внимательны, когда встретите слова *свое* и *отпадает*.

Правильно говорят, что любое стихотворение, подобно сохнущему шерстяному платку, бывает растянуто на иглах нескольких ключевых слов, которые блистают, как звезды. И в псалме мы

видим такие блистающие слова. Правда, современному человеку они не всегда видны, — ведь слова эти — библейские, и семантика их восходит к началу тысячелетия до Рождества Христова, отражает весьма отличную от нашей духовность. Впрочем, если истолковать их символику, то становится понятно, что и сегодня человека (без различия возраста, профессии или национальности) продолжают занимать те же нравственные проблемы, что и три тысячи лет назад.

Совет — это, как и сейчас, собрание людей, но шире — круг общения некоторого человека. *Путь* — это образ его мысли и жизни. *Закон*, выражаясь по-современному, представляет собой нравственный императив внутри человека, то есть совесть. Совесть, по религиозным представлениям, вложена в душу человека Богом, поэтому и говорится не просто: закон, а — закон Господень. Наконец, *грех* — это сознательное преступление закона, бунт против совести, беззаконие.

И в псалме так выпукло отражена извечная борьба добра и зла в душе человека! Противостояние закона и беззакония волновало людей во все времена, в любой стране, при любом общественном устройстве. Загадка и исход борьбы совести с грехом будут актуальными для нас, пока существует род человеческий. Есть два пути. *Праведники хранят закон. Нечестивцы нарушают закон.* (Само слово *нечестивый* происходит от глагола *честити* «почитать, уважать», и имеется в виду, конечно, почитание Бога и Его закона).

Праведник подобен дереву, получающему достаточно влаги. В Псалтыри отразились представления людей, хорошо знакомых с жаркой пустыней, отсюда образ дерева у водного источника. Праведнику, как сказано, во всем, что бы он ни делал, будет сопутствовать успех. Исполняй закон, как бы советует Псалтырь, и тебе обеспечено преуспеяние. Нечестивый же подобен комку пыли, развеянному ветром. Его путь — погибель.

Эти утверждения — о преуспеянии праведников и о крушении нечестивцев — соответствуют жизненным наблюдениям: измучивший свою совесть носит ад в душе и, несмотря на внешний блеск, не добивается даже земного счастья. Что же касается загробной жизни, — а Псалтырь строго верит в нее, — то нечестивцы не выдержат суда Господня и не избегут наказания. При всей кажущейся прямолинейности такой связи (праведность ведет к успеху, а нечестие к поражению) она имеет огромный нравственный потенциал, который каждый человек постигает для себя в той мере, в какой способен усвоить.

Обратите внимание на то, какой стройный получается парал-

лелизм, какое последовательное противопоставление! Сначала, в 1-й части псалма,— один тезис, потом, во 2-й части,— противоположный другой, а в конце, в 3-й части,— синтез тезиса и анти-тезиса, их «снятие», завершение, итог.

Путь праведных	Путь нечестивых
законопослушание	законопреступление
плодоношение	бесплодность
преуспеяние	безуспешность

Жизненный итог

блаженство

гибель

Обратите внимание, наконец, и на то, что уже три тысячи лет назад понимали, что *с кем поведешься, от того и наберешься*. Блажен, кто не ходит на собрания нечестивцев и не участвует во лжи.

Разве размышления над Псалтырью, над ключевыми библейскими словами должны быть достоянием специалистов-филологов, и только? Разве они не полезны для любого, в том числе и нашего, времени? Во всяком случае, гуманист и вполне просвещенный человек Франциск Скорина прекрасно видел благое воздействие Псалтыри на своих современников. И он совершенно не утомим в своем прославлении вдохновенных псалмов:

Псалом есть щит против бесовским ноцным мечтанием и страхом,
покои денным суетам и роботам,
защититель младых и радость,
старым потеха и неспя,
женам набожная молитва и покраса,
детем малым початок всякое доброе науки,
дорослым помножение в науде,
мужем мощное утверждение...

Он страстно хотел, чтобы каждое слово Псалтыри дошло до читателя. Поэтому он предпринял систематическое комментирование устаревших церковнославянских и непонятных иностранных слов: «Также положил на боцех (т. е. на полях) некоторыи слова для людеи простых, нерушаючи (т. е. не затрагивая) самое Псалтыри ни в чем же (...). Слова, которыи суть в Псалтыри неразумыни простым людем, найдуть е (то есть их) на боцех руским языком, что которое слово знаменуеть». Скажем, *тимпан* тол-

куется как *бубен*, *онагри* как *лоси*, *прузи* как *(з)усеницы*, *пажить* как *былие*, *неясыть* как *пеликан* (то есть пеликан) и т. д.

И последнее. Скорина считал Псалтырь мощным орудием овладения церковнославянским языком, языком книжности и просвещения. «Хощеши ли умети граматiku, или по-руски говорячи грамоту, еже добре чести и мовити (то есть говорить) учить, знайдеши в зуполной (то есть полной) Библии Псалтыру, чти ее».

Его трепетное отношение распространяется и на остальные библейские книги — в первую очередь на Евангелие и на Апостол. В издании славянской, по его выражению — русской, Библии он видел свое жизненное призвание.



❁ Мозырь — столица Полесья ❁

А. Ф. Рогалев,
кандидат филологических наук

В самом центре Белорусского Полесья, в 133 километрах от Гомеля лежит древний город Мозырь.

Археологи нашли на его территории городище и селище, датирующиеся VIII–XI веками. Первое упоминание о Мозыре в письменных памятниках относится к 1155 году. В XII веке город входил в состав Черниговского и Киевского княжеств. Согласно преданию, в 1241 году он был сожжен и разграблен монголо-татарами. С XIII века город входил в состав Великого княжества Литовского. Неоднократно подвергался нападениям крымских татар в конце XV и в начале XVI веков. В 1508 и 1535 годах Мозырь — объект спора между правителями Литовского и Московского государств. С 1569 года — уездный город Минского воеводства в составе Речи Посполитой. В 1793 году Мозырь присоединен к России и с 1796 года является центром уезда Минской губернии. В советский период с 1938 по 1954 год Мозырь был центром Полесской области. С 1954 года является районным центром Гомельской области.

Поселение на месте современного Мозыря возникло на одном из участков наиболее древнего в Восточной Европе торгового пути IX–XI веков, известного в науке под названием *путь из хазар в угры* (от Волги по Дону и Северскому Донцу, через Десну и Днепр на Припять и по ее притокам далее на запад через Западный Буг к среднему течению Дуная). Трудно сказать, как называлось это первоначальное поселение, однако не исключено, что уже в IX–X веках, то есть по существу с самого своего возникновения, оно именовалось *Мозырем*.

Первая фиксация топонима *Мозырь* тем не менее относится только к 1155 году (Ипатьевская летопись): «Тогда же Гюрги вьда

Изяславу Корчеськ, а Святославу Ольговичю Мозырь». Интересно отметить, что в современном произношении белорусов ударение в названии города падает на второй слог — *Мазы́р*. В русском же произношении — на первый (*Мозы́рь*). Первая фиксация (*Мозырь*, 1135 г.), видимо, предусматривала ударение на первом слоге. В последующих фиксациях (XII — XIV века) встречаются формы *Мозър* и *Мазър*, где буква *ъ* в первом случае, по всей вероятности, обозначала неударный звук, а во втором — ударный (см. об этом: Жучкевич В. А. Мозырь и мазуры // Неман. 1972. № 3). Таким образом, нефиксированное ударение в топониме *Мозырь* — *Мазы́р* имеет длительную историю, по истинные причины этого интересного явления (освоение иноязычного слова, лежащего в основе названия; диалектные различия, закрепившиеся затем в двух близкородственных восточнославянских языках, или что-то другое) остаются пока неизвестными.

Не меньшие трудности возникают перед исследователем при попытке объяснить происхождение топонима *Мозырь*. Согласно версии О. Н. Трубачева, топоним этот не имеет этимологии на восточнославянской почве. Исследователь сопоставляет географическое название со словенским географическим термином *mozirje* в значении «болото» (см.: Трубачев О. М. Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. 1971. № 6). Однако это, внешне достаточно простое объяснение, не подтверждается историческими и географическими обстоятельствами. Дело в том, что болота в Припятском Полесье никогда не являлись признаком, который обуславливал возникновение географических названий. Кроме того, в окрестностях Мозыря, по крайней мере, в известный исторический период болот никогда не было. Город расположен на Мозырской возвышенности. «Мозырские горы» хорошо известны тому, кто хотя бы раз бывал в окрестностях Мозыря, никогда не забудет он этих живописных мест, образно называемых *Белорусской Швейцарией*.

Именно поэтому более убедительной представляется версия о возникновении топонима *Мозырь*, изложенная известным белорусским географом и топонимистом В. А. Жучкевичем в названной работе. По его мнению, название *Мозырь* связано с наименованием этнографической группы западославянского (польского) населения — *мазурами*.

Исследования последних лет действительно свидетельствуют об этнических контактах между восточными и западными славянами еще в VIII—X веках (Перхавко В. Б. Западославянское влияние на раннесредневековую культуру Белоруссии // Древнерусское государство и славяне. Минск, 1983). В XI—XII веках

активизируются торгово-экономические, политические и культурные связи западных славян с населением Белоруссии. И как можно предполагать, закладываются основы для возникновения многочисленных географических названий Белоруссии, производных от этнических наименований *ляхи* и *мазуры*. Только на Полесье есть 12 таких топонимов. Это села *Ляховичи* (Житковичский район Гомельской области, Дрогичинский и Ивановский районы Брестской области), *Ляховцы* (Кобринский, Малоритский районы Брестской области), г. *Ляховичи* (Брестская область); села *Мазуры* (бывший Мозырский уезд, Ельский район Гомельской области, Кобринский район Брестской области), *Мазурки* (Ляховичский район Брестской области), *Мазуричина* (Светлогорский район Гомельской области). Эти географические названия могли возникнуть только при наличии групп польского населения или отдельных переселенцев в названных районах.

Впрочем, все отмеченные топонимы совсем не обязательно относить к древнерусскому времени, в частности, к VIII—XII векам. Появление поляков на землях феодального государства XIII—XVI веков — Великого княжества Литовского (в том числе и на современных белорусских землях) в качестве пленных после военных походов литовских князей на Польшу отмечается во второй половине XIV столетия (Этнаграфия беларусаў. Минск, 1985). По некоторым данным, количество поляков в пределах территории Великого княжества Литовского в то время составляло 23 тысячи человек.

Переселения поляков на восток и юго-восток продолжались после начавшегося объединения Литвы и Польши в борьбе с крестоносцами в последней четверти XIV века и стало особенно интенсивным в результате Люблинской унии 1569 года, когда белорусские земли вошли в состав Речи Посполитой.

Чтобы определить точное время появления того или иного населенного пункта, в названии которого отразились этнонимы *ляхи* и *мазуры*, необходима кропотливая работа в архивах и в самих населенных пунктах. Однако уже сейчас можно сказать, что поселения *Мазуры*, *Мазурки*, *Мазуричина* и другие, не только в Полесье, но по всей территории Белоруссии, не могли получить свое название ранее XV века. Дело в том, что этноним *мазуры*, который лежит в основе большинства таких названий (некоторая часть подобных топонимов, особенно названия типа *Мазурово* в Витебском районе, *Мазуровка* в Кировском районе Могилевской области и др., восходит не к этнониму *мазуры*, а к фамилиям или прозвищам *Мазур*, *Мазуров*), встречается в письменных источниках как раз только с XV века.

Если объяснять происхождение топонима *Мозырь* при сопо-

ставлении с этническим наименованием *мазуры*, то значительное временное несоответствие между появлением формы *мазуры* (XV в.) и первой фиксацией географического названия (XII в.) будет являться существенным препятствием на этом пути. Следует обратить внимание также на фонетическое отличие этнонима *мазур*(ы) от первоначальной формы топонима — *Мбзырь* (ср. место ударения и заударные гласные), да и от современной белорусской формы *Мазыр*. Кроме того, структура географического названия *Мозырь* очень нетипична для того, чтобы видеть в ней отражение этнического наименования.

Как же в таком случае объяснять загадочное географическое название? Где искать его истоки?

При разгадывании древних наименований, которые давно утратили свой первоначальный смысл, необходимо всегда иметь в виду одно правило. Географическое название нельзя рассматривать отдельно, вне связи с другими названиями. Каждое имя обязательно повторяется в таком же или немного измененном виде на соседних территориях, причем нередко в качестве наименования объектов иного рода — не только населенных пунктов, но и рек, озер, урочищ.

Так обстоит дело и в нашем примере. В бассейне Днепра недалеко от белорусской границы на территории Украины есть речка *Мазырка* (*Мазырка*). На Гомельщине около деревни Рудня Калинковичского района известно *Мазырское болото*. На севере Белоруссии, в Глубокском и Ушачском районах Витебской области размещаются две деревни с одинаковым названием — *Мбсар* (чередование глухих и звонких согласных, в том числе и *с/з* в топонимии Белоруссии встречается достаточно часто: *Сбленка* — р. *Збленка*, р. *Узъ* — р. *Усá*, р. *Вётричь* — р. *Вёдричь* и др.). Урочище *Мбсар* есть также возле деревни Свеча Наровлянского района Гомельской области. Село *Масбры* фиксируется в Сенненском районе Витебской области, а в Шумилинском районе этой же области — деревня *Мбсареве*. Сенокосный луг *Масарбвка* (Мбсаровка) отмечается рядом с селом Закаблуки Минского района.

Интересно отметить, что разноместность ударения в двух формах (русской и белорусской) одного топонима — *Мбзырь* и *Мазыр* очень похожа на разноместность ударения в разных названиях, образованных от одного и того же корня — *Мбсар* и *Масбры*. Не является ли это обстоятельство еще одним доказательством общности основ анализируемых здесь названий?

Сравнение с еще одним названием — *Замбсарск* (хутор до 1936 года в Петриковском районе Гомельской области) — позволяет предположить, что может лежать в основе как слова *Мо-*

зырь, так и других приведенных имен. Название хутора *Замбсарск* следует понимать как «объект, который находится за *мбсаром*». Но что же такое *мбсар*? Хутор находился рядом с деревней Колки. Колками же в Белоруссии называют березовое редколесье, кустарник, который растет чаще всего на болоте, в сырой низине. Кроме того, ландшафт местности, где находился хутор, явно свидетельствует об осушенном болоте. Таким образом, косвенные данные позволяют считать, что *мбсар* — это «болото, болотистая низина, заросшая травой, кустами». Но по всей видимости, это слово служило для обозначения не любой болотистой низины, заросшей растительностью, но той, которая прежде представляла собой русло болотистой лесной речки. Почему так? Вспомним название речки *Мазырки*, приводившееся выше. Но самое главное заключается в том, что отсутствующее ныне в белорусских говорах, но, вероятно, существовавшее на современной белорусской территории в прошлом слово *мбсар*, с помощью которого мы объясняем и названия типа *Мбсар*, *Масбры* и наименование *Мбзырь*, очень напоминает слова *мосер*, *мосьбр*, известные в языке коми, где они имеют значение «волок, путь по водоразделу, ложбина». Не является ли совпадение слов белорусского и коми языков одним из проявлений древних языковых связей предков современных народов Восточной Европы? Возникновение же города Мозырь на торговом пути мотивирует высказанное предположение об истоках его названия.

Гомель



Купить ко́та в мешке

Т. М. Шихова

Выражение *купить ко́та в мешке* рассматривается как калька с французского многими исследователями как русского, так и близкородственных белорусского и украинского языков (Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. *Этимологический словарь русской фразеологии*). Реже это устойчивое сочетание относят к калькам из немецкого (Олехнович Н. Н. *Фразеология белорусского литературного языка XIX — начала XX вв.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук.* — Минск, 1982) или из латинского (Шевченко Г. И. *Фразеологические кальки с греческого и латинского в русском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук.* — Минск, 1986) языков. Калькирование при этом мотивируется наличием в соответствующем языке-источнике эквивалентного фразеологического оборота.

Однако описание в этнографических материалах XIX века суеверий, связанных с домашними животными, а также анализ сборников пословиц восточнославянских народов позволяет предположить истинное происхождение фразеологизма *купить ко́та в мешке*.

Так, А. Е. Богданович в этнографическом очерке «Пережитки древнего мирозерцания у белорусов» (Гродно, 1895) описывает приметы, которых в относительно недалеком прошлом придерживались восточные славяне при купле-продаже домашних животных: «Когда продаешь лошадь или корову, вообще что-нибудь живое, и желаешь, чтобы „пошло рукой“, то не надо передавать их новому хозяину голыми руками: не будут плодиться. В таком случае „бьют по рукам“ и передают купленное „косматой рукой“, т. е. завернувши руку в полу платья. Когда продаешь поросенка, ягненка, курицу и т. п. на расплод, и если посадишь продаваемое животное в мешок вперед головой, держа за задние ноги, то у продавца эти животные переведутся, а у покупателя расплодятся; если же будешь сажать в мешок задними ногами, то продавцу хорошо, а у покупателя не будет приплода. Поэтому, чтобы никому обиды не было, следует сажать в мешок спиной, держа за ноги».

Подобные «торговые обычаи» восходят к забытым языческим представлениям, связанным с поклонением огню и воде. Поклонение это отразилось во многих народных обрядах. В первую очередь, в обрядах, связанных с плодородием и изобилием в доме, описанных А. Н. Афанасьевым в работе «Поэтические воззрения славян на природу». Туча, приносящая дождь и, следовательно, плодородие и богатство, уподобляется в них мешку, шкуре, фате.

Таково, в частности, предание о неистерпаемом кошельке (или кошельке-самотрёсе), из которого сколько ни бери — он все полон золотом. Объяснение этого предания восходит к поэтическому представлению «тучи, закрывающей небесные светила и рассыпающей золотистые молнии, сумкою или мешком» (Афанасьев, Указ. соч.).

В весенней грозе древний человек видел брачный союз, «в который бог-громовник вступал с облачными нимфами, проливая на землю плодородное семя дождя. Поэтому латинское *nubere* (от *nubes* — облако) — „покрываться“ получило еще другое значение: выходить замуж... Покрывало, которым окручивают голову невесты, ее фата, есть символическое знамение того облачного покрова, под которым являлась прекрасная богиня весны, рассыпающая на всю природу богатые дары плодородия» (там же).

Отсюда понятно, почему следовало продавать животных на расплод таким образом, как это описано выше.

Совершенно ясно, что ко́та покупать (да еще на расплод) ни-

кто не будет. Поэтому закономерно наличие среди русских, а также белорусских и украинских пословиц выражений типа русск. *кошку в мешке не покупают* (Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные Ф. И. Буслаевым.— М., 1854); бел. *кота в мешку не купляюць* (Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем.— СПб., 1874); укр. *кота в мішку не горгують* (Українські приказки, прислів'я та інше. Збірники О. В. Марковича и др.— СПб., 1864).

Отсюда очевидно, что дальнейшее переосмысление выражения было связано с утратой отрицания при глаголе. Употребление оборота без отрицательной частицы отражает, вероятно, старый воровской прием подмены при покупке какого-либо небольшого животного на ярмарке (ср. чешск. *kupovat zajíce v pytlí* — букв. «покупать зайца в мешке»).

Кроме того, в легендах, отражающих народную мечту о неиссякающем благополучии, повествуется о приобретении «неразменного рубля» путем продажи черного кота.

Вот один из вариантов, записанный Е. Р. Романовым и опубликованный в «Белорусском сборнике» (Вильно, 1912): «Чтобы его (неразменный рубль) приобрести, нужно в Страстную субботу изловить черного кота, увязать его в тонкую бечевку-шпагат так, чтобы было как можно больше сложных узлов, и идти с таким котом в Пасхальную ночь в церковь. Такого смельчака по пути непременно встретит покупатель и даст за кота рубль. Вручивши покупателю кота, продавец должен из всей силы бежать обратно домой, ни в коем случае не оглядываясь назад, как бы ни звал его покупатель и какие бы препятствия ни встречались по пути. Покупатель — черт. Купивши кота, он начинает освобождать его от бечевки, и если успеет развязать все узлы, догоняет продавца и душит или калечит его и отнимает обратно свой рубль. Если же не успеет развязать всех узлов, смельчак делается обладателем неразменного рубля, за который все можно покупать, а он снова будет возвращаться к хозяину».

Итак, для удачной продажи кота, согласно легенде, следует обвязать его бечевкой при помощи множества сложных узлов. Современному читателю непонятна связь между веревкой с узлами и мешком. Однако связь эта в народных представлениях существовала через соединение таких понятий как *сеть*, *вязанный пояс*, *окрута* в значении «одежда» и *облака* (ср. облачение), которое часто уподоблялось и мешку. И узлы, и мешок имели символическое значение, могли способствовать, с одной стороны, благополучию и богатству, а с другой стороны, — разорению и гибели.

Суеверия и обряды, на которых основывается высказанное мне-

ние, описаны в книге Н. Ф. Сумцова «Культурные переживания» (Киев, 1890), в исследовании А. Н. Афанасьева «Наузы. Пример влияния языка на образование народных верований и обрядов» (М., 1865).

Приведем несколько цитат из вышеуказанной работы А. Н. Афанасьева: «...в народной медицине и волшебных чарах играют значительную роль наузы, узлы, навязки — амулеты...

В тверской губернии для охраны стада от зверей навязывают на шею передовой коровы сумку с каким-то снадобьем; сумка эта называется *вязлом*, и значение чары состоит в том, что она связывает пасть дикого зверя...

Есть еще обычай, в силу которого снимают с больного пояс и бросают на дороге; кто его подымет и паднет на себя, тот и заболит, т. е. к тому болезнь и привяжется; а хворый выздоровеет...

Нить с узелками или еще лучше сеть (потому что нигде нет столько узлов, как на ней) почитаются охранительными средствами против нечистой силы, колдунов и ведьм... В некоторых местах, наряжая невесту к венцу, накладывают на нее бредень... или навязывают па длинной нитке как можно более узелков, подвывают ею невесту; делается это с целью противодействовать порче...

Некоторые крестьяне думают, что ходить без пояса грешно и что под шкурою убитого оборотня не раз находили парня или бабу, превращенных колдовством в хищного зверя, и всегда без пояса... Язык доселе удерживает выражения: *любовная связь, парень повязался*..., обозначая тем в пластическом образе сочетание мужчины и женщины воедино. Но древний метафорический язык допускал и такое выражение: *замкнуть, завязать силу плодородия*. В зимнее время небо перестает посылать на землю оплодотворяющее семя дождей; холода и стужи как бы *запирают* небесные источники, запирают и самую землю, которая лежит окованная системами и льдами, и ничего не рождает из своей материнской утробы. Старинное поучительное слово обозначает бездождие — *завязанным или замкнутым небом*».

Приведенные цитаты позволяют увидеть мир глазами наших предков и понять отраженные в языке забытые метафорические связи слов и фразеологических единиц. Эти связи раскрывают древнее мировосприятие, реализованное в языковых формах.

Не в пользу иноязычного источника свидетельствует и хронология. Время фиксации данного фразеологизма (с отрицанием *не*) в восточнославянских языках — примерно конец XVI — начало XVII веков, о чем свидетельствуют, в частности, приведенные ранее материалы сборников пословиц. Эпоха же активного калькиро-

вания фразеологизмов русским языком из французского, немецкого и латинского относится к XVIII–XIX векам, то есть позднее первых пословичных фиксаций.

Немаловажно, что анализируемое выражение имело варианты: в русском не покупали *кота* и *кошку*, в украинском и белорусском *кота (не) торговали* и *не покупали*, в современном украинском *кота* покупают *в мішку* и *в торбі*.

Приведенная аргументация, на наш взгляд, квалифицирует *купить кота в мешке* как исконное выражение в восточнославянских языках, которое приобрело статус интернационального фразеологизма под влиянием языковых контактов.

Кривой Рог

КОПЧИК

Ж. Ж. Варбот,
доктор филологических наук

Копчиком в русском литературном языке называется побольшая косточка, образованная несколькими сросшимися позвонками, которой заканчивается внизу позвоночник человека. Происхождением этого слова интересуются редко, что имеет свои причины. Прежде всего, слово, хотя и общеизвестное, но малоупотребительное, вследствие ограниченности значения. В этимологических словарях оно может игнорироваться и по этой причине (как узкий термин), и как производное образование, подразумеваемое специалистом при рассмотрении основного, производящего слова. Так или иначе, а в этимологических словарях русского языка *копчик* не упоминается. Что же касается носителей русского языка, то неоднократные попытки автора выявить распространенные представления о связях этого слова привели к следующему выводу: происхождение слова *копчик* кажется вполне ясным, оно представляется тождественным слову *кобчик*, которое обозначает вид хищных птиц (малого ястреба) и, вследствие оглушения звонких согласных перед глухими (б перед ч), в произношении совпадает (омонимично) с *копчик*. Возможно, возникновению такой ассоциации способствовала многозначность слова *сокол*, среди значений которого есть и уменьшительное обозначение птицы сокола, и значения анатомические. Но анализ русской лексики показывает, что *копчик* никак не связан со словом *кобчик*.

Для выяснения происхождения слова *копчик* следует разобратся в его словообразовательной структуре. Имена существительные на *-чик* часто являются производными с суф. *-ик* от имен с суф. *-ец*: ср. *ларчик* — от *ларец*, *кончик* — от *конец*, *пальчик* — от *палец*. Следовательно, *копчик* могло бы быть образованием от *копец*. В литературном языке такого слова, правда, нет. Но в русских говорах слово *копец* очень распространено, причем с различными значениями: «яма», «колодец», «небольшая насыпь, бугор», «межевая яма», «межевой знак», «предел, конец», «гибель» (Словарь русских народных говоров; далее — СРНГ). Сопоставляя слова *копец* и *копчик*, можно предположить, что *копчик* образовано от *копец* и

значениях «конец», «бугор» или скорее «конечный, пограничный бугор».

Слово *копец* имеет соответствия во многих славянских языках, и здесь тоже представлены значения «бугор, холм», «яма», «межевой знак»: ср. укр. *копець* «межевой знак», белор. *капець* «куча», «курган», «насыпь у межевого столба», польск. *korpiec* «бугор, холм», «яма», «могильник», чеш., словац. *koriec* «холм, пригорок», пажнелужиц. *корс* «куча, холм», «пограничный холм», верхнелужиц. *корс* «холм» и др. Все эти слова являются продолжением одного и того же праславянского слова, которое в свою очередь образовано от *корь*. Сохранились и следы этого последнего слова: русское диалектное *коп* обозначает большую кучу (сена, снопов, хлеба) [СРНГ], а старочешское *кор* имело значение «ров, яма». Сопоставление всех этих значений позволило этимологам установить, что *кор* (рус. *коп* и т. д.) образовано от глагола *kopati* (рус. *копать*). При этом изменение значения имени существительного *кор* и его производных (рус. *копец* и т. д.) реконструируется следующим образом: первоначально существительное *кор* (и его производные типа рус. *копец*) обозначало собственно результат копания — яму или кучу земли, насыпь; затем так стали обозначаться, с одной стороны, любые возвышения, бугры, холмы, пригорки, а с другой стороны — ямы или кучи земли, которыми обозначались межи, границы земельных владений; то же слово было использовано для обозначения межевого столба (например, брянское *капцы* «межевые столбы» — см. П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины. Минск, 1973), а местами приобрело и значение «конец» (а отсюда и «гибель»). В русском диалектном *копец* еще прослеживаются почти все стадии этого развития значения, а производное от него *копчик* фиксирует лишь последние звенья семантического развития — «бугорок», «кончик».

Точное соответствие по форме для рус. *копчик* обнаруживается в белорусских говорах: здесь отмечены *кбпчык* «курган, насыпь» и «небольшая куча» (Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча, т. 2. Мінск, 1980) и *капчык*, *кбпчык* «бугорок около растения, который получается после окучивания» (см. Матэрыялы для слоўніка. Мінска-Маладзечанскіх гаворак. Пад рэд. М. А. Жыдовіч. Мінск, 1970). Белорусское слово подтверждает образование рус. *копчик* от *копец* в значении «бугор».

Обозначение *копчика* — последнего отдела позвоночника человека — как бугорка, выпуклости представлено и в польском языке: здесь *копчик* называется *kuręg*, а это слово родственно с литовскими *кайргас* «пригорок», *курга* «горб». Точно так же *гузка* «конец позвоночника птицы» родственно с лит. *guzkys* «зоб, кадык» и

древнепрусским *gunsix* «шишка». Эти случаи также подтверждают предложенное выше толкование происхождения слова *копчик*.

Таким образом, за словом *копчик* стоит длительная история славянского гнезда слов, в основе которого находится глагол *копать*. Интересно, что в русском литературном языке представлены лишь первое и последнее звенья словообразовательной цепи *копать* — *коп* — *конец* — *копчик*. Промежуточные звенья — *коп* и *копец* — в литературном языке отсутствуют (есть лишь производное от *коп* или *копа* слово *копна*), хотя бытуют в говорах, а *копчик*, в свою очередь, отсутствует в русских говорах (во всяком случае, *копчик* не фиксируется в известных диалектных словарях). Поэтому представляется полезным рассмотрение слова *копчик* в этимологическом словаре русского языка в качестве самостоятельной словарной позиции.



АПОКАЛИПСИС

В. В. Касаркин

В последнее время наиболее часто стал употребляться в языке печати библеизм *апокалипсис* (греч. *apokalypsis*, букв. откровение).

Современные толковые словари так определяют это слово: «*Апокалипсис*, -а, м. Христианская церковная книга из так наз. «Нового завета», содержащая пророчества о конце мира» (Словарь русского языка С. И. Ожегова, 4-томный Словарь русского языка). Название этой книги — «Откровение Святого Иоанна Богослова», или сокращенно «Откровение Иоанна», «Апокалипсис».

Апокалипсис в словарном значении мы встречаем, например, в работе О. Мандельштама «Слово и культура: статьи» (М., 1987): «В двадцать шестой песне «*Paradiso*» Дант дорывается до личного разговора с Адамом, до подлинного интервью. Ему ассистирует Иоанн Богослов — автор *Апокалипсиса*».

От *апокалипсиса* образовано прилагательное *апокалипсический* (реже употребляется *апокалиптический*) «к библейской книге „Апокалипсис“ относящийся»: «Это тяжелое ступание по земле, которую он (Наполеон. — В. К.) как будто хотел раздавить, замечали в нем издавна. И это подавало повод находить черту сравнения с *апока-*

липисическим Аполлионом (ангелом бездны, греч. Аполлион — губитель. — В. К.), которому народное предание придает также ноги крепкие, походку тяжелую. Эта же черта замечается и в описании Мамай, другого предводителя нашествия на Россию!» (Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения). Следует отметить, что *апокалиптической* называется древнееврейская литература «о тайнах потусторонних миров и конце истории» (см.: Аверинцев С. С. Древнееврейская литература. — История всемирной литературы, т. I. М., 1983).

В последние годы слова *апокалипсис*, *апокалипсический* приобрели новое значение, не отмеченное еще в толковых словарях, — соответственно «конец света» и «к концу света относящийся»: «Первые часы армянской трагедии страшны ощущением бессилия человека перед последствиями беды. Потом, когда появились мощные подъемные краны.., медицина развернулась на ближних и дальних подступах к районам бедствия, — сгинул этот призрак *апокалипсиса*» (Михаил Крушинский. При свете костров. — Известия. 1988. 17 дек.); «Но если Спитак хоть с вертолета можно было окинуть взглядом и представить себе масштаб разрушений, то весь Ленинанкан предстает в *апокалипсическом* масштабе» (Балаян З., Бочаров Г., Рост Ю. Армения. Трагический декабрь. — Лит. газета. 1988. 14 дек.).

Заметим, что синонимами слова *апокалипсис* «конец света» являются: *Армагеддон* (библейское место битвы между силами добра и зла на исходе времени), *второе пришествие*, *конец света*, *светопредставление*, *страшный суд*, *судный день*.

Чтобы подчеркнуть, из-за чего может произойти апокалипсис, к существительному часто прибавляются прилагательные, характеризующие угрозу миру. *Апокалипсис* может быть *атомным*, *ядерным*, *экологическим*, *бактериологическим*, *моральным* и т. д.: «Ведь давно уже мы говорим друг другу: надо друг друга не трогать; не задирать, не вызывать на поединок — мир находится на грани *ядерного апокалипсиса*» (Айтматов Ч. Цена прозрения. — Огонек, 1987. № 28); «Это ж чего нам грозит нашей же душевной ленью возвращенное? *Моральный Апокалипсис*? Полный моральный распад? *Конец света*, когда девушки, носительницы материнства, изведут свой дух и свою плоть в интимных радостях частных удовольствий? А ведь есть, есть уже приметы этого *конца*» (Лиханов А. Начинаящая... — Здоровье. 1987. № 7).

Пока в печати чаще говорится об *апокалипсисе ядерном*. Ведь на первом месте стоит угроза множество раз уничтожить Землю ядерным оружием.

Следует отметить, что из библейской книги «Апокалипсис» в наш язык пришло несколько выражений. Одни давно стали крыла-

тыми (*альфа и омега, блудница вавилонская, книга за семью печатями...*), другие, видимо, только еще «встают на крыло».

Так, в последнее время после публикации в журнале «Нева» (1987, №№ 1-4) романа Владимира Дудинцева «Белые одежды» приобрело известность одноименное выражение. В газете «Советская Россия» (1988, 9 октября) в обзоре почти приводятся такие строки читателя Богданова: «Так трудно и, как оказывается, так опасно ходить в *белых одеждах* — все норовят кинуть в тебя ком грязи. А в сером балахоне притворства — неужели ты также чист? Нет! Вот и получается, что истинным, хотя и безрассудным мужеством обладают лишь те, кто идет по жизни в *белых одеждах правды*, презирав серые балахоны полуправды и лжи...» Автор романа так объясняет выражение *белые одежды*: «На протяжении длинной истории человеческой культуры в *белых одеждах* выступали высоко нравственные люди, герои, спасающие город, обитель человеческую от злых сил» (Московские новости, 1987, 4 января).

В «Апокалипсисе» читаем: «спи облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли?... Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои...»

Белые одежды в романе В. Дудинцева — это яркая характеристика тех, кто нравственен, кто активно стремится спасти людей и их дело от бесчестных и негодяев, символ добра, чистоты и правды.

Распространению библейского выражения *белые одежды* способствовало, видимо, и то, что в 1988 году роман В. Дудинцева «Белые одежды» был отмечен Государственной премией СССР.

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС весной 1986 года получило известность и библейское выражение *звезда полынь*. Украинское слово *чернобыль* означает «полынь». А с полынью связано такое предсказание из «Апокалипсиса»: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие люди умерли от вод, потому что они стали горьки».

Выражение *звезда полынь* в значении «Чернобыль, беда, катастрофа, вызванные халатным, бесчестным отношением к источникам повышенной опасности; предвестие конца света» используют художники, журналисты, писатели.

Весной 1987 года на Всесоюзной выставке в Москве впервые была показана картина Максима Кантора «Чернобыль. Звезда полынь». Олесь Гончар писал в статье «Откуда явилась „звезда полынь“?»: «Среди украинских писателей не первый день уже вызревает мысль созвать международный «Чернобыльский форум» интеллигенции — может, стоило бы эту идею поддержать? Собрать-

ся, чтобы сообща подумать, откуда она явилась, эта «Звезда По-
лынь», — из ночей библейских или уже из ночей грядущих?»
(Лит. газета. 1987. 9 дек.).

В заключение следует сказать, что с предупреждающим нас
о конце света древнейшим словом *апокалипсис* органически свя-
заны библейские выражения, давно вошедшие в языковой фонд
русского языка и ставшие особо актуальными в последнее вре-
мя: «Неграмотный врач — это не просто плохо, это беда. ...*Врачу,
исцелися сам!*» (Соц. индустрия. 1987. 22 сент.); «По всему миру
рассеяны реликвии Русской православной церкви, составляющие
историко-культурную сокровищницу. Они так необходимы, когда
идет восстановление храмов и монастырей... когда религиозные
центры активно включаются в процессы обновления нашего об-
щества. Поистине время собирать камни» (Голос Родины. 1988.
№ 51); «По-моему, единственное изменение, которое произошло
у нас в теперешнем лесопользовании, в том, что раньше мы
не ведали, что творим, а теперь отлично сознаем, но продолжаем
творить по инерции и из противоречия разумным доводам» (Рас-
путин В. Что творим... — Смена. 1988. № 17); «*Не сотвори кумира* —
не напрасно сказано. Именно в этом случае возникает одно из
самых страшных заблуждений, что вождь может все. Взмахнет
Сталин пальцем — и воля его исполняется, как по волшебству.
Да, его злая воля исполнялась именно так. А вот с доброй волей
все намного сложнее» (Литературная Россия. 1988. 28 окт.);
«Откуда это пошло-то — это поветрие на переименования? Или в
первые годы Советской власти мы торопились утвердиться и
обозначиться, поскорее рассчитаться с прошлым, *отряхнуть его
прах со своих ног?*» (Залыгин С. П. Поворот); «...*очистим* державу
от скверны. ...Будем мужественны, ибо предстоящий путь тернист,
и терпеливы, ибо он долог» (Советская культура. 1987. 12 ноября);
«Вчера на „Запорожстали“ проведена Всесоюзная плавка мира.
...Получена первая сталь, в шихту которой вошел металл ракет,
заключивших свою службу. Мечи переплавлены на орала на агре-
гате № 1...» (Правда. 1988. 8 окт.).

Перестройка, демократизация и гласность дают новую жизнь
лаконичным и метким древним словам и выражениям. И появляю-
щиеся все чаще в книгах, журналах, газетах, радио- и телепере-
дачах библеизмы *апокалипсис*; *не ведают, что творят*; *время
разбрасывать камни, и время собирать камни*; *миротворцы*; *мир
дому сему*; *не хлебом единым жив человек*; *не сотвори кумира*;
очистимся от скверны и другие зовут к разуму, нравственному
очищению и совершенствованию, самокритичному отношению к
себе, раскрытию «белых пятен» нашей истории,



О формировании символа в стихах А. Блока

Ю. В. Архангельская

В записных книжках Александра Блока за 1906 год есть очень любопытная (и часто цитируемая) запись: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение» (Блок А. А. Соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 379).

Странное, на первый взгляд, утверждение: стихотворение по-является не под напором нахлынувшего содержания, а создается ради отдельных слов? Но последуем известному совету судить поэта по законам, им над собой признанным, попробуем взглядом извне обнаружить то, что Блоку было видно изнутри его собственной художественной системы, и попытаемся найти «слова-звезды» в одном из ранних стихотворений поэта.

Одиноким, к тебе прихожу,
Околдован огнями любви.
Ты гадаешь.— Меня не зови.—
Я и сам уж давно ворожу.(...)

Ворожкой полоненные дни
Я лелею года,— не зови...
Только скоро ль погаснут огни
Заколдованной темной любви?

«Одиноким, к тебе прихожу...»

Эмоциональная выделенность слов, обозначающих *огонь* (*свет*), *тьму*, *любовь*, *колдовство*, здесь очевидна. Настойчиво возвращаясь в разных словосочетаниях, они как бы закрепляются в сознании читателя. Синонимы (*колдовство* — *ворожба*) дополняют друг друга, взаимно обогащаясь оттенками; варьируясь, принимая разные формы, выделенные в смысловом отношении слова «аукаются» в пространстве стихотворения, — и виражь яркие и светящиеся, как звезды.

Еще пример:

Навстречу страстному безволю
И только будущей Заре —
Киваю синему раздолю,
Ныряю в темном серебре!..

.

А я — серебряной пустыней
Несусь в пылающем бреду.
И в складки ризы темносиней
Укрыл Любимую Звезду.

«Мой месяц в царственном зените...»

Синее раздолье — это и есть небесная пустыня, названная позже серебряной; *темное серебро* — и есть серебро с *темносиними* ночными отсветами. И одно уже не мыслится без другого. Пройдя сквозь весь текст, эти опорные для него слова сочетаются то с одной, то с другой группой слов, а значит, и с различными образными системами, расширяя за их счет «круг значений». Возникает шлейф ассоциаций, который тянется за «словом-звездой», отраженным сиянием высвечивая в нем множество смысловых оттенков. Слово оказывается как бы не равным себе, охватывая все более широкую сферу понятий; обозначая не одно явление, а целый комплекс образов; становясь его знаком, с и м в о л о м.

Но чтобы превратиться в символ, значимый для целого периода творчества Блока; в символ, который одним своим появлением в тексте намечает границы единого образного мира, слово должно вырваться за рамки строки, строфы, отдельного стихотворения и войти в контекст всей книги стихов. Отсюда стремление ключевых слов к некоему семантическому расслоению, к расширению смыслового объема. Стремление, заставляющее их искать такие позиции в тексте, которые позволяют взаимодействовать одновременно с наибольшим количеством речевого материала.

Рифма — именно такая позиция. Прежде всего, рифмующееся слово выделено чисто интонационно, оно фиксирует на себе наше особое внимание. Затем, — положение на конце строки обуславливает его двоякую отнесенность: в горизонтальном плане оно соот-

посится со всей тканью «своей» строки, а в вертикальном — с рифменной парой. Иными словами, в позиции рифмы слово как бы высвечивается сразу с двух сторон, обретая смысловую многоцветность и объемность символа.

Возьмем пример из поздней лирики Блока (стихотворение «Черная кровь»):

Нет! Не смирит эту черную кровь
Даже — свидание, даже — любовь!

Перед нами знаменитая рифма — «кровь—любовь». Ее наполненность стерлась от слишком частого употребления. Однако вспомним: составляющие ее слова близки и по сфере употребления, и эмоционально, — их сближает признак «жаркий», «горячий». Иначе говоря, слова эти несут одинаковый заряд. Перед нами не просто рифма-созвучие; это рифма «по смежности». (Изучив похожее явление в ранневизантийской литературе, С. С. Аверинцев писал: «В новой русской поэзии так поступал иногда Блок, рифмовавший «по смыслу» и сопрягавший «теплится» и «крестится» (по смежности), «забыть» и «памяти» (по противоположности)» // Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 227).

Однако *кровь* сопрягается не только со своей рифменной парой (*любовь*), передающей ему свою теплоту и энергию, но одновременно «принадлежит» и словосочетанию *черная кровь*. Какие несовместимые образы совмещены в нем! Это уже драматическое столкновение понятий, это — эпитет «по противоположности». Таким образом, слово *кровь* попало в странное окружение: эпитет окрашивает его в мрачные, темные, холодные тона; а рифменная пара — в яркие, горячие. В результате намечаются крайние границы образного мира, стоящего за словом; границы, между которыми — бездна оттенков.

Вынесенное на гребне смысловой волны в конец строки, «слово-звезда» оказывается на пересечении сразу нескольких образных линий. Наполняясь все новыми эмоциональными оттенками, оно постепенно как бы выходит за рамки своего непосредственного контекста, перерастает его. Попадая однажды в позицию рифмы, оно может начать повторяться и в других стихах, — в разных вариациях и с разными рифменными парами. Такие «кочующие», часто встречающиеся рифмы характерны особенно для раннего творчества Блока. Вот строфы из трех стихотворений, написанных поэтом в течение одной недели 1902 года и расположенных рядом в книге «Стихи о Прекрасной Даме»:

И полны заветной дрожью
Долгожданных лет,

Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.

«Мы живем в старинной келье...»

Всё дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа.

«Верю в Солнце Завета...»

Непорочность просится
В двери духа божья.
Сердце переносится
В дали бездорожья.

«Кто-то с богом шепчется...»

Слово *бездорожье* повторяется во всех трех стихотворениях. И каждая из его рифменных пар взаимодействует с ним по-своему, пробуждая в нем новые и новые оттенки. К примеру, «ложью — бездорожью» — это рифма-противопоставление: «ложь» объединяет в себе все шаткое, неверное, дрожащее; «бездорожье» — светлая «золотая межа», дорога к прекрасному, к счастью. И, наконец, «божья — бездорожья» — это рифма «по смежности», создающая настроение возвышенности, чистоты света. Сопрягаясь со словом *дали*, *бездорожье* дает дополнительное значение — безбрежности. В результате ключевое слово очерчивается с нескольких сторон, как бы отражаясь одновременно в двух зеркалах: верхнем (созвучие с высоким: «божья») и нижнем (созвучие с низким: «ложью»). Понемпогу в сознании читателя складывается обобщающий, разноликий образ *бездорожья*. Теперь уже достаточно лишь назвать его, и сами собой в памяти всплывут оттенки, подаренные ему когда-то соотнесенными с ним, созвучными ему словами. *Бездорожье* для Блока — это безграничность, несвязанность, влекущая свобода, таинственный свет.

Разомкнутость системы рифм одного стихотворения в рамках целого цикла или книги стихов способствует «перетеканию» слова из одного произведения в другое. Сопрягаясь со множеством лексических пластов, обрастая все новыми и новыми эмоционально-смысловыми оттенками, оно постепенно вырастает в единый сквозной образ, проходящий через множество стихотворений. Возникает «созвездие» слов и центром его может стать даже мало-выразительное само по себе, обычное слово. Но когда такие слова слагаются в рифму, то противопоставление, столкновение образных миров заставляет забыть о ее лексической и фонетической бедности.

Уже у раннего Блока можно найти подобные «созвездия», они встречаются как в конце строки, так и в середине. Особо, символически значимы для Блока *лазурь, огонь, круг, тайна*.

Исследователи творчества поэта не раз отмечали тяготение его стихов к циклизации, власть контекста всей книги над каждым произведением. Чем дольше и чем дальше углубляемся мы в ее единый массив, тем четче срабатывает некая «память текста», тем больше перекрестных ассоциаций будит в сознании читателя каждое слово-символ. Поэтому, например, читая строки: «Самый огонь — слепые очи/Не сожжет мечтой былой», — мы понимаем, что *самый* применительно к *огню* — не случайность: это тот «самый огонь», та таинственная и символическая для Блока, соединяющая все сила, о которой сказано: «И завтра и вчера огнем соедини»; это тот огонь, которым «разгорается мечта»; чудесный «пламень роковой» в глазах подруги.

Что же позволяет нам говорить о таком многозначном, «многослойном» слове как о символе? Все дело в том, что накопленный им «багаж» значений дает возможность толковать его двояко: пробуждая в нас воспоминание о разных контекстах; вызывая поток образных ассоциаций, оно может одновременно обозначать два совершенно разных явления: внешнее и внутреннее, видимое и невидимое, «здесьнее» и «нездесьнее» (в терминологии символизма). Скажем, в стихотворении 1901 года «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» есть строки: «Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, / И молча жду, — *тоскуя и любя*». В данном случае *огонь* — это и признак скорого появления Прекрасной Дамы, ее постоянный «атрибут», — и, — вместе с тем, — черта реальной, современной Блоку действительности (по свидетельству современников, летом 1901 года после извержения вулкана на острове Мартиника зори приобрели странные, яркие оттенки, — и, казалось, «весь горизонт» был «в огне»).

Так у Блока слово получает особое, присущее символу двуединство значения. Так становится оно знаком целого мира смысловых оттенков и вариаций, мира, которому служат границами «земля» и «небо», «здесь» и «там».

Слова эти рождаются из глубин поэтической системы Блока, кристаллизуются, пройдя через многие и многие строфы, и могут уже стать причиной появления целого стихотворения, его смысловым центром, пружиной его развития.

Александр Блок — поэт Пути, поэт постоянно растущий и движущийся. В этом пути сопровождали его чудесные «слова-звезды», — главные, глубинные для него слова.



Заячья капуста, ушки и лапки...

С. Ю. Дубровина

В русских ботанических словарях приводится большое количество названий растений, образованных от существительного *заяц*: *заяц*, *зайцев лен*, *зайцевы ягодки*, *заячий горох*, *заячий квас* и мн. др. Если мы попытаемся определить значение какого-либо из них, то сделать это будет довольно трудно. Так, наименование *зайцев лен* может обозначать, что данное растение чем-то сходно с зайцем, является его излюбленной пищей, произрастает в местах обитания зверька и, вероятно, похоже на лен. Такая омонимичность значения характерна для всех «зоонимных» названий растений.

И все-же присвоение того или иного имени растению не случайно. Смысл называния раскрывается часто при ознакомлении с формой, цветом, запахом растения.

Сейчас не все наши современники знают, что многие из дикорастущих растений вполне могли бы употребляться в пищу. Ко-

вечно, калорийные и питательные свойства их гораздо ниже, чем у похожих культурных видов, но, тем не менее, они заслуживают к себе серьезного отношения и могли бы, в случае необходимости, стать равноправными заменителями культурных злаков.

В. А. Меркулова в «Очерках по русской народной поменклатуре растений» (М., 1967) указывает, что только растения, которые могут быть суррогатом муки, составляют не менее 40–50% видов, но при всем при том они почти неизвестны, и даже в период голода использовалась ничтожная часть из них.

В пищу могли употребляться многие растения, носящие названия с эпитетом *заячий*. Такова, например, *кислица обыкновенная*, из которой вполне можно приготовить вкусное блюдо, похожее на салат из квашеной капусты. Русские наименования кислицы весьма разнообразны — *заячья кислица*, *заячья соль*, *заячий щавель*, *заячья травка*, *заячья капуста*. Слова *кислица*, *соль*, *щавель* в названии не случайны, так как зеленые листики этого растения кислы и соленоваты на вкус. Это происходит оттого, что в тканях растения содержатся соли щавелевой кислоты.

Заячья соль не только годится в пищу, она в дополнение к этому немаловажному достоинству является и противоядным средством. Классическое название заячьей кислицы *Oxalis* происходит от греч. *охус* «кислый» и *алис* «соленость».

Растение *заячий холодок* (дикая спаржа) в прошлом было широко известно и взрослым, и детям, сочные стебли его употреблялись в пищу. Автор «Подробного ботанического словаря, или травника», посвященного императрице Екатерине, А. К. Мейер писал: «Как скоро упомянутые головки (т. е. верхушки спаржи — С. Д.) начнут над землею показываться, то стебли из земли по корень его вырезают, и, сваря в воде, с солью едят с топленным свежим коровьим маслом или с другим каким соусом, крошат в супы и употребляют в разных других кушаньях и холодные с уксусом... вместо салату».

Растение *заячий салат*, *заячья салатка* (научное название — *чистяк*) имеет множество съедобных корневых клубеньков. Собираатель украинской флоры XIX века К. С. Горницкий свидетельствует, что молодые листья этого растения раннею весною употреблялись в пищу по всей России вместо салата и как зелень для щей, а также от цинги. Известный ботаник XIX века П. И. Аптеков в своем «Ботаническом словаре» указывает, что заячий салат собирався людьми бедными и именовался *небесным ячменем* и *небесной манной*. Впрочем, растение это было известно не только у русских, но и во всей Европе. В средние века во времена войн, голода и неурожая его собирали и употребляли в пищу. Немецкое обиход-

ное название заячьего салата — Feigwurz «корневая фи́га», а также — Scharbockskraut «лекарство от цинги, возникающей при плохом питании».

Заячий салат с другим научным названием — *Осот огородный* — в прошлом также собирали на салат, а в настоящее время он успешно добавляется в корм домашним животным.

Многие растения — *заячий горошек*, *заячий овес* и др. обратили на себя внимание наших предков тем, что их с удовольствием ест домашний рогатый скот. Так, заячий овес был известен ранее как хорошая кормовая трава. Для ясности представления назовем другие народные названия заячьего овса — *ковыль* (тамб.), *пырей* (ворон.), *овсюг*, *висюг*, *митлиця*, *висюнець* (укр.). Растение *заячий горошек* с большой охотой едят коровы, оно способствует отделению более густого молока. Недаром научное название заячьего горошка — *Астрагал сладколистный*.

Растущий на пастбищах *заячий клевер* (*заячьи лапки* — костр., *заячьи соски* — олон., *заячьи лички* — нижег., *заячьи ножки*) особенно любят овцы, остальные же животные его избегают, так как для них это слишком жесткий и горький корм. Мало того, в Киевской губернии верили, что это растение предохраняет от болезней овец, на Владимирщине считалось, что оно служит для выведения червей у скота (Анненков Н. И. Ботанический словарь). Молодые *заячьи картошки* можно жарить и варить из них супы, если собрать только что появившимися из земли.

Но мы отвлеклись от происхождения первой части названия. Почему *заячьи* салат, клевер, кислица..? Ведь и за этим определением должно что-то стоять.

В самом деле, «заячьим» названиям тоже есть свои объяснения. Первое из них относится ко всем наименованиям зоологического характера. Поскольку понятия «съедобность» и «полезность» существуют в связи с национальным опытом, можно допустить двойное отношение народа к указанным видам трав. Если они считались зачастую невкусными, сорняковыми, не очень нужными, то это качество отмечалось особыми прилагательными, связанными с названиями животных. При этом наименования выглядят так, будто народ, подчеркивая определенную второстепенность растений, непосредственно связывает их с животными: *заячий мак*, *заячий горox*, *заячья картошка*, *заячьи огурчики*, *волчий мак*, *петушье просо*.

На внешних признаках и качествах самих растений базируется второе объяснение названий.

От сравнения стремительных прыжков зайца с «отскакиванием» молодых побегов *живучки кровельной* от стебля возникли на-

звания *заячий скок*, *скочки*. Интересно, что латинское название *живучки* кровельной происходит от слов *sempre* «всегда» и *vivere* «жить», так как растение живет в самых неприхотливых местах.

Растением, которому не чужды законы баллистики, является и описанная выше *заячья травка* — *кислица*. Плод ее, раскрываясь, осуществляет бросательное движение: набухшие ткани коробочки находятся в напряжении; достаточно легкого прикосновения или толчка, чтобы коробочка лопнула и выбросила мелкие семена. При этом создается впечатление, будто бы семена прыгают. Как и зайчата, вынужденные становиться самостоятельными сразу после рождения, семена *заячьей травки* (*заячьей соли*, *заячьего щавеля*, *заячьей кислицы*, *заячьей капусты*) прорастают очень быстро.

Заячий клевер (*Trifolium arvense*) называют *заячьим* или *кошачьим* из-за густого опушения чашечки. Помимо того, после цветения лепестки беловатого цвета еще долго сохраняются на растении, создавая подобие комочков беловатой шерсти зайца-беляка или кошки.

Своеобразную группу ботанических названий составляют сочетания типа *заячьи лапки*, *зайцехвост*, *заячьи ушки*, *заячьи глазки*, *заячьи ножки*, то есть включающие указание на части тела животного. Видимо, они возникли по сходству растения с животным.

Многие растения имеют опушенные стебли и листья, отчего в «Определителях» их описание снабжается подходящими пометами: «... растение мохнато-волосистое», «опушенные 2-раздельными или простыми волосками листья», «стебель метлистый». Наличие опушенности послужило основой ассоциаций: стебель мягкий и пушистый, как мех зайца, отсюда *заячьи лапки*, *заячьи ушки*. Точно так же «пришло» и название *заячий пух* к растению *Eriophorum*, которое в говорах зовется *белоголовник*, *пух*, *пушица*, *травяной пух*, *пушник*.

Внешнее сходство лежит в основе русского названия *зайцехвост*, что подтверждается южнославянским материалом [сербохорв. *зечји реп* (*rep* — хвост), *зечји репућ*, *лисичји реп*]. Латинское имя *зайцехвоста* *Lagurus ovatus* происходит от греч. *lagos* «заяц» и *ига* «хвост» и дано потому, что колоски растения короткие и мягкие, как заячий хвостик.

Отдельную группу составляют названия растений, возникновение которых не объяснимо простым сочетанием частей или внешним сходством. Это *заячий холодок*, *заячья заря*, *заячья кровь*, *заячий квас* и некоторые другие.

Общеизвестно мнение о зайце как о трусливом, пугливом существе: *Вор, что заяц,— и тени своей боится*. Существует множество

славянских сказок, лейтмотив которых – риторический вопрос: кто трусливее зайца? В сказках задумавший утопиться из-за отчаяния от своей трусости заяц идет к болоту и обходит его берегом в поисках удобного места. Вдруг перед ним прыгает в воду испуганная его появлением лягушка. Убедившись, что есть животные трусливее его, заяц отказывается от своей затеи и остается жить.

Поэтому именно метелка растения *Asparagus officinalis*, дрожащая от малейшего дуновения ветра, могла вызвать к жизни название *заячий холодок*, или просто *холодок*. Русские диалекты подтверждают семантическую связь слов *холод* и *дрожь*. В псковских говорах выражение *поймать дрожанку* значит «дрожать от холода»: *поймал я сегодня славную дрожанку на рынке*. Слово *дрогун* означает соответственно «дрожь от холода, испуга»: *зимой дрогун пробирает*. *Поймал дрогуна* – скажет рыболов, выходя мокрым из воды.

Заячий холодок имеет и такие названия: *холодец* (орл., вор., тамб.), *студень*, *дрожалка*.

В поверьях славянских народов образ зайца связан с брачными, любовными, демонологическими мотивами. Связь зайца с миром духов и нечистой силы, злокозненность и отрицательность подтверждаются на многочисленном фольклорном и этнографическом материале в работе А. В. Гуры «Символика зайца в славянском обрядовом и песенном фольклоре» (в кн.: Славянский и балканский фольклор. М., 1978).

Эпитет *заячий* в некоторых случаях определяет значение всего названия.

Для раскрытия названия *заячья кровь* необходимо обратиться к народным поэтическим традициям. Свадебные и хороводные песни, в которых фигурирует заяц, имеют сходные мотивы, обусловленные темой любовных и брачных отношений. Например, в хороводных песнях заяц часто выбирает себе девушку или брачную пару: «Скоч, заяц, да на елушку, // Выбери себе да красну девушку».

В старинных книгах по снотолкованию смысл присутствия во сне зайца разъясняется в пользу брачных уз: зайца кормить – знак бракосочетания. Зайца нагонять, значит сговор свадебный (Волшебное зеркало, открывающее секреты великого Алберта... М., 1827).

В одном семантическом срезе стоят представления о плодovitости зайца и приспособляемости некоторых растений. Так, *заячий клевер* – озимое растение, обычно дает семена в очень короткий срок, так что осенью в сентябре – октябре уже вырастает новый урожай.

Детоносная функция зайца отражена в немецких легендах, где заяц, как, например, и аист, исполняет роль дарителя младенцев. «В Обергарце указывают Hasenteich (заячий пруд), в водах которого сидят нерожденные дети, а в Швабии уверяют, что дети достаются из заячих гнезд» (Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу).

Название *заячья капуста* широко употребляется в различных диалектах русского языка. Обычно оно принадлежит растению *Sedum telephium*, которое по виду действительно напоминает красивый миниатюрный кочан капусты. Деревенские жители, которых спрашивают о происхождении заячьей капусты, отвечают просто: «капусту любят зайцы».

Возможно, растение названо так потому, что лист его такой же хрупкий, как капуста. Он скрипит. То есть причиной наименования является метафора.

Н. И. Анненков указывал, что *заячья капуста* называется также *скрипуном*, оттого, что «скрипит в руках, когда трешь или жмешь». В Пермской губернии *заячью капустку* тоже называли *скрипуном*, но дело здесь не в хрустящих свойствах листьев, а в лечебном употреблении скрипуна. Свежее истолченное растение или сушеное в виде припарки прикладывали к рукам и ногам, «если скрипит в них», что случается из-за тяжелой работы или простудной болезни суставов. Получается, что *скрипун* лечит от скрипа.

Основой названия *заячья капуста* могли стать и архаичные смысловые мотивы, символизирующие брачные начала. Во многих песенных текстах заяц бьет за то, что он ломает в огороде капусту. Есть основания считать, что мотив заломы капусты символизирует брачный акт, где заяц воплощает мужское, а капуста — женское начало...» (Гура А. В. Символика зайца...).

Демоническое значение зайца отмечается в поверьях и сказках европейских народов, в частности, у славян. Например, малорусы верили, что заяц сотворен чертом, белорусы и русские опасались зайца на пути свадебного поезда, т.к. считалось, что по дороге свадебной процессии в церковь черт может перебежать дорожку в облике зайца. В связи с этим во многих областях старой России существовало выражение *зайца закидать* — то есть преградить дорогу молодым бревном или палкой, чтобы получить выкуп. В Томской губернии слово *заячаться* означало «запутаться в грехах».

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Около сорока лет прошло со времени последнего (второго) издания «Хрестоматии по истории русского языка» С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова (М., Учпедгиз, 1952), по которой училось не одно поколение студентов-филологов и историков. Она давно уже стала библиографической редкостью.

И вот для преподавателей, студентов и всех любителей древней русской словесности издательством «Просвещение» (М., 1990) выпущена в свет новая «Хрестоматия по истории русского языка». Авторы-составители ее В. В. Иванов, Т. А. Сумникова, Н. П. Панкратова.

В хрестоматию включены тексты, достаточно полно представляющие разнообразие типов и жанров древнерусской и собственно русской письменности XI–XVII веков: берестяные грамоты, частная переписка, грамоты договорные и духовные, данные и жалованные, закладные, купчие и продажные, летописи, жития, поучения, правоучительные тексты, церковные произведения (в том числе три древнейших евангелия – «Остромирово» 1056–1057 гг., «Добрилово» 1164 г., «Мстиславово» начала XII в.), юридические, научные, публицистические, историко-литературные, а также ряд фольклорных произведений. Многие памятники впервые представлены в учебном пособии по истории русского языка.

Подбор, временное и жанровое разнообразие позволяют проследить процессы развития, происходившие в русском языке и литературе на протяжении XI–XVII веков. Очень важно, что авторами включены и такие тексты XI–XIV веков, которые отражают ряд особенностей древних восточнославянских наречий, облегчая возможность сравнительной характеристики этих наречий. Деловые тексты XV–XVII веков, включенные в хрестоматию, дают достаточное представление о диалектных чертах языка великорусской народности.

Тексты расположены преимущественно в хронологическом порядке, учитывается датировка самого произведения или списка, в котором оно дошло до нас.

Они приводятся по рукописям, фотокопиям, старопечатным книгам или по наиболее авторитетным научным изданиям. При этом тексты XI–XIII вв. печатаются кириллицей, с максимальным приближением к особенностям древнерусской графики; более поздние набраны современным шрифтом с добавлением недостающих знаков.

Каждый текст предваряется характеризующей памятник ле-

гендой, содержащей краткие сведения с самом источнике, его истории, месте хранения рукописи, об изданиях и лингвистических исследованиях, дающих общее представление о языковых особенностях памятника. О более частных исследованиях, упомянутых в легенде или в комментариях к тексту, можно найти сведения в библиографических справочниках или указателях, рекомендуемых в хрестоматии.

В практической работе над текстами помогут сопровождающие их примечания, облегчающие грамматический и лексический разбор, а также необходимые лингвистические и исторические комментарии, позволяющие глубже вникнуть в содержание текста.

Для облегчения понимания материала в Приложении к хрестоматии помещен «Словарь к текстам», в котором толкуются слова и словосочетания, вышедшие из употребления; слова, имеющие семантику, отличающуюся от современной (*бѣлъка* «денежно-весовая и денежно-счетная единица Древней Руси...», *варъ* «палящий зной, жара», *глумление* «потеха, забава, развлечение» и под.). Приводятся и слова, сохранившиеся в данном значении только в диалектах (например, *бабити*, *-ить* «принимать роды», *болонь* «заливной луг у реки», *вълна* «шерсть» и др.).

Если слово пришло из других языков, указывается источник заимствования, например: *атаманъ* (тюрк.), *заможныи* (польск.), *магистръ* (лат.), *месия* (др.-евр.), *миро* (греч.), *нагара* (арабск.), *ратманъ* (нем.), *сурна* (перс.), *юнакъ* (сербск.) и др. В некоторых случаях при толкуемом слове даются также грамматические уточняющие пометы. В конце Приложения приведены образцы древнерусских типов склонения существительных, местоимений и полных прилагательных, а также образцы типов спряжения глаголов.

Хрестоматия, без сомнения, привлечет внимание не только тех, кто изучает историю русского языка и литературы, но и всех интересующихся историей и культурой Древней Руси.

Н. П. Зверковская.
кандидат филологических наук

ЖИВАЯ РЕЧЬ УРАЛЬСКОГО ГОРОДА

Любителям русской речи будет интересно познакомиться с оригинальным изданием – сборником, подготовленным Уральским университетом под редакцией Н. А. Купиной. Этот сборник только недавно дошел до широкого читателя, хотя на титульном листе стоит 1988 год.

Книга в равной мере интересна для специалистов-языковедов и для любителей русской речи, она дает богатую пищу для размышлений над тем, как мы говорим и как понимаем многие слова, которые слышим.

В задачу авторов входило выявление особенностей речи горожан – уральцев в ее разнообразных проявлениях. Большое внимание уделялось социальному и демографическому составу говорящих, а также типичным ситуациям общения. В результате читатель может убедиться в самобытности живой речи на Урале, изобилующей множеством оригинальных слов и значений, чисто уральских выражений. Интересно, как отражается в речи горожан промышленный профиль их городов: многие выражения несут отпечаток своего «промышленного» происхождения, например, такие приветствия: «Здравствуй, Паша с Уралмаша!», «Держи кардан!», «Держи кость нашего предприятия» и т. п.

Очень любопытны данные по употреблению и восприятию просторечной и архаической лексики горожанами. Выделяются, к примеру, просторечные слова, употребляемые только пожилыми людьми (*учительша, уголовщик, уважить, ублажать* и др.). Авторы отмечают, что люди до 30 лет знакомятся с архаизмами из книг, в то время как старшие возрастные группы знают их «из разговора». Большинство архаизмов используются в настоящее время в переносном значении: *барчук* – лодырь, *барышня* – изнеженная девушка, *баталия* – возня, драка, спор, *нахлебник* – бездельник и т. д.

Сборник «Живая речь уральского города» имеет ярко выраженную практическую направленность, поскольку содержит анализ речевого общения горожан в различных условиях, диагностирование регионального акцента и методику его преодоления; исследует функционирование диалектных слов в речи горожанина, региональные черты в речи школьников и др.

И. А. Стернин,
доктор филологических наук
Воронеж

СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ

Телефакс. Развитие современных научно обоснованных технологий, поиски новых совершенных форм обмена информацией (как между странами, так и различными учреждениями) вызвали к жизни новый термин *телефакс*. Это слово образовано сложением морфемы *теле-* и компонента *-факс*, представляющего часть хорошо известного латинского слова *факсимиле* (лат. *fac simile* – делай подобное).

Телефакс – это новый вид связи, позволяющий с помощью специального аппарата быстро передавать письменную фиксацию какой-либо информации, корреспонденции или письма в нужное место. О том, что новая форма связи распространяется в нашей стране, свидетельствует наличие телефаксов в редакциях некоторых журналов. Так, в журналах «Огонек» и «Новое время» сообщается не только номер телетайпа редакции, но и номер телефакса.

Новый термин употребляется и в различных публикациях, например: «Обеспечение нашего фонда помещением, оплата оборудования „офиса“, его телефонной связи, телекса и телефакса, а также ремонт и охрана здания – за счет Советского фонда культуры» (Лит. газета. 1988, 20 июля); «Они располагают прекрасным оборудованием, в том числе телефоном, который мгновенно соединяет с автором, в какой бы стране он ни находился, телефаксом, позволяющим за несколько секунд передать изображение нужного письма в любую точку планеты» (Известия. 1988. 4 авг.).

Слово *телефакс* – мужского рода, имеет форму множественного числа, изменяется по падежам. Второй компонент сложного существительного *-факс* может употребляться в сочетании с такими существительными, как *связь*, *машина*: «Развитие *факс-связи* обретет такую интенсивность и широту, что в следующем столетии отпадет необходимость в почтальонах... Необычайным механизмом станет телефон, который вберет в себя функции телеприемника, видеомagneтoфона, *факс-машины* и персонального компьютера» (Известия. 1989. 29 янв.).

Несмотря на то, что сфера использования неологизма *телефакс* ограничена, вхождение этого слова в русскую терминологическую систему очевидно. Это подтверждает и отсутствие русского лексического эквивалента, который мог бы именовать новую реалию нашей жизни.

Г. Г. Тимофеева,
кандидат филологических наук

Тематический указатель статей, опубликованных в журнале «РУССКАЯ РЕЧЬ» в 1990 году

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Фесуненко П. М. В. И. Ленин в работе над словом	2
Фойницкий В. Н. Истоки одной реплики	2

К КОНГРЕССУ МАПРЯЛ

Почти сто стран	4
---------------------------	---

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Григорьев В. П. Культура языка и языковая политика . . .	1
Исаев М. И. Об актуальных проблемах языковой ситуации в нашей стране	4
Ким С. С.-Д. Судьба родного языка	2
Троицкий В. Ю. Уроки словесности	6

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бабаев Э. Г. Апеллес и сапожник. Эпиграмматическая притча А. С. Пушкина	3
Бельская Л. Л. Загадочный образ	6
Бочковская Т. Я. «Так как я пишу вещи необычные...» (Сравнения в романе А. Грина «Бегущая по волнам»)	6
Вакуров В. П. О словах и выражениях сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок»	2
Вацуро В. Э. Из записок филолога. «Князь, наперсник Муз» в пушкинском «Городке»	3
Гаспаров М. Л. «Гастрономический» пейзаж в поэме Марины Цветаевой «Автобус»	4
Гаспаров М. Л. Рифма и жанр в стихах Бориса Пастернака	1
Гин Я. И. Судьба Филомелы в русской поэзии	4
Горбаневский М. В. Помидорная любовь	2
Данин Д. С. Это пребудет с нами	1
Журавлева Г. И. Риторические приемы в оде «Вольность»	3
Зайцев Бор. Пастернак. Полгода со дня кончины	2
Иванова Т. А. «Сорок тысяч курьеров»? Почему?	5
Иезуитова Р. В. «Звезда разрозненной плеяды»	6
Искрин М. Г. «Отрывки северных поэм»	3

Кабанова П. П. Стилистические особенности «Воспоминаний»	
Л. Разгона	6
Качинская И. Б. О речевой маске Репетилова	2
Корниласева И. А. Еще раз о «Скращении судеб»...	4
Михеева Л. П. «Меткий и без излишества щедрый» (О языковой манере автора «Поединка»)	4
Михеева Л. Н. О «Коньке-горбунке» и его авторе	2
Нива Жорж. Писать по-русски (Из книги «Солженицын»)	5
Носов С. Н. Патетика реализма	5
Обухова В. Н. «Далеко ли до Берлина, не считай, шагай, смолля...»	3
Пастернак Е. В. «Вторжение воли в судьбу...» (Письма Б. Л. Пастернака в связи с «Доктором Живаго»)	1
Смолицкий В. Г. Б. Пастернак — собиратель народных речений	1
Факторович А. Л. Потасенная ясность (Эллиптический зачин в прозе И. А. Бунина и В. В. Вересаева)	5
Харджиев Н. И. Валериан Майков об Александре Агине	3

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

Новиков Л. А. Андрей Белый как теоретик поэтического языка	5
---	---

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Бальмонт Константин. Русский язык	2
Белый Андрей. О художественной прозе	5
Осоргин Мих. Статьи	1
Поэзия Владимира Набокова	3

АНТОЛОГИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Галич Александр	1
Ким Юлий	3
Клячкин Евгений	5
Кукин Юрий	4
Сухарев Дмитрий	6
Якушева Ада	2

ПИСАТЕЛЬ И СЛОВО

Солженицын А. И. Русский словарь языкового расширения	3-6
--	-----

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Агеев Ф. Л. По страницам Словаря ударений	1
Анушкин В. И. «Хорошее слово — половина счастья»	1
Веселов П. В. Служебный телефонный разговор	5
Веселов П. В., Овчинникова П. В. Служебная телеграмма	3
Воротников Ю. Л. Красив ли черт?	2

Граудина Л. К. «Духовной силою и разума, и слова» . . .	4
Дерябина А. С. Сливовый и сливовый	6
Дмитриева О. Л. Добавить строку, добавить текста	4
Дмитриева О. Л. Оплата труда, оплата за труд	5
Иванова Т. А. <i>Дитя</i> и <i>дитё</i>	3
Из Хрестоматии о русском красноречии	4
Кабинетская Т. Н. «Я послал тебе открытку»	2
Колесников Н. П. Кое-что о псевдоомонимах	6
Кудрявцева Л. А. Технические термины в общелитературном языке	2
Лейчик В. М. Цепочечные образования в языке науки и техники	5
Мамина Н. В. Преобладает написание <i>Алгол</i>	3
Сергеев В. И. Как делаются словари	3
Шкатова Л. А. Речевые формулы спора	4

БЕСЕДА НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Родной язык	3
-----------------------	---

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЯЗЫКОВЕДЫ И ИХ НАСЛЕДИЕ

Борковский Виктор Иванович	1
Виноградов В. В. Значение А. С. Пушкина в истории русского литературного языка и в истории стилей русской художественной литературы	3-6
Копорский С. А. О культуре языка и речи молодежи (20-е годы)	1
Малеча П. М. — ученый-лексикограф и педагог	1
Ожегов С. И. К 90-летию со дня рождения	4
Ожегов С. И. Вопросы нормализации современного русского литературного языка	4
Реформатский Александр Александрович	6
Трубецкой Николай Сергеевич	2
Фасмер Макс и его этимологический словарь	3
Шапиро Абрам Борисович	5

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

Ажалиев Р. Х. Об одном «темном» месте в «Хождении» Афанасия Никитина	3
Верецагин Е. М. «Русская Библия» Франциска Скорины	6
Горбаневский М. В. «На Покровке я молился...»	5, 6
Из Этнолингвистического словаря славянских древностей. <i>Баня</i>	4
Калугин В. В. Ошибался ли дьяк Козьма Попович?	2

Корнилов Д. В. Топонимы Московского государства в европейских изданиях XVI—XVII веков	3
Павловец Д. Д. Франциск Скорина и родной язык	4
Судаков Г. В. Назвался груздем — полезай в кузов	2
Трубачев О. Н. В поисках единства	1, 2, 5, 6

РУССКИЕ ГОВОРЫ

Плотникова А. А. Диалектный словарь — энциклопедия крестьянской жизни	5
Пшеничникова Н. Н. Диалектологический атлас русского языка	2

НА КАРТЕ РОДИНЫ

Бушаков В. А. Что означало название <i>Артек</i> ?	2
Левашов Е. А. Топонимия Москвы и Ленинграда вчера и сегодня	3
Носпелов Е. М. Орешек или Шлиссельбург? (Проблемы восстановления исторических названий)	4
Роголев А. Ф. Мозырь — столица Полесья	6

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА

Бакуров В. И. О носе в русских поговорках	3
Владимирцев В. П. По следам русской «Дубинушки»	5
Поликанов А. А. Народность поэтики М. В. Исаковского	1
Шихова Т. М. Купить kota в мешке	6

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Варбот Ж. Ж. Кончик	6
Варбот Ж. Ж. «Ты солнце в выси мне застишь...»	4
Горячева Т. В. Глаза простудить, погреть	2
Добродомов И. Г. Кто такая <i>кузькина мать</i> ?	1
Звиняцковский В. Я. «Пасичник Рудый Папко»	1
Касаркин В. В. Апокалипсис	6
Макаров В. И., Матвеева И. П. «Держать в обаянии»; «Во лжи прелестной обличу»	2
Марковский И. К. Мастер	1
Махонина М. Н. Этот загадочный сказочный остров	5
Мокленко В. М. На каких бобах нас оставляют?	4
Мокленко В. М. <i>Хлопочки</i> или <i>хлопоты</i> ?	5
Невойт В. И. Борщевые щи	4
Топорков А. Л. Будьте здоровы!	5
Топорков А. Л. На кудыкину гору	3
Хан-Пира Эр. Нагпетать обстаповку	4
Хан-Пира Эр. Сталинизм и сталинщина	2
Чаусова Н. Г. Об истории омонимов: <i>мандарин</i>	1

Чернышева М. И. Павлиц, Фефикс	2
Шустов А. Н. Место рождения слова <i>лавина</i>	3

СЛОВО МОЛОДОМУ ЛИНГВИСТУ

Архангельская Ю. В. О формировании символа в стихах А. Блока	6
Владимирская О. И. О возможных мотивах изъятия главы «У Тихона» из романа «Бесы» Ф. М. Достоевского	4
Дубровина С. Ю. Заячья капуста, ушки и лапки	6
Дубровина С. Ю. Кукушкины слезки	4
Тамерьян Т. Ю. Фабрика, завод, индустрия	4
Торгаутова И. С. <i>Аркалыкец</i> или <i>аркалыкчанин</i> ?	3

СРЕДИ КНИГ

Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика	3
Граудина Л. К., Миськевич Г. И. Теория и практика русского красноречия	5
Живая речь уральского города	6
Звучащее слово Древней Руси	1
«КО» — спутник книголюбца	5
Никонов В. А. Ищем имя	1
Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов	1
Уибегаун Б. Русские фамилии	3
Хрестоматия по истории русского языка	6

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Воскресенская Н. Кроссворд (Юмористический рассказ на актуальную тему)	4
Игротека	1
Кроссворд	2, 5
Кторова Алла. Джой и Дружок	5
Норман Б. Ю. Этимологические мифы	5

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

Каламова Н. А. Имя прилагательное	3
Каламова Н. А. О спряжении глагола	4
Степанченко И. И. <i>Не</i> — приставка или частица?	1

ХРОНИКА

Культура русской речи	4
---------------------------------	---

СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ	2, 6
-------------------------------	------

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

Гала-концерт	1
На афише — хит-парад?	2
Письмо в редакцию	4
СПИД или спид?	1

К сведению авторов

Рукописи, направляемые в журнал, должны быть напечатаны на машинке через два интервала в двух экземплярах и подписаны автором.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес и телефон.

Объем статьи не должен превышать 8–10 страниц машинописи. Все цитаты должны быть тщательно выверены автором по источникам; ссылки даются в тексте, с указанием выходных данных (название, место, год издания, страница).

Номер оформили художники: *Н. Беланов, С. Жигин, В. Леонов, М. Мордвинцева, Е. Чуканова.* ©

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОМПЕРСКИЙ (главный редактор), **Л. К. ГРАУДИНА**, **В. П. ГРЕБЕНЮК**, **В. П. ГРИГОРЬЕВ**, **А. Ф. ЖУРАВЛЕВ**, **Ю. Н. КАРАУЛОВ**, **Л. М. ЛЕОНОВ**, **Л. Ю. МАКСИМОВ**, **И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ**, **Л. А. НОВИКОВ** (зам. главного редактора), **Н. А. РЕВЕНСКАЯ** (зам. главного редактора), **Н. И. ТОЛСТОЙ**, **В. Ю. ТРОИЦКИЙ**, **А. П. ЧУДАКОВ**, **Е. Н. ШИРЯЕВ**, **Д. Н. ШМЕЛЕВ**

Заведующая редакцией
Т. С. Колмакова
Художественный редактор
В. А. Леонов
Корректоры
В. В. Беляев, М. Б. Рыбина

Сдано в набор 18.08.90
Подписано к печати 27.09.90
Формат бумаги 84×108/32
Бумага книжно-журнальная
Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72
Усл. кр.-отт. 359,6 тыс.
Уч.-изд. л. 8,0. Бум. л. 2
Тираж 54 700
Заказ 360. Цена 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».
Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
2-я типография изд-ва «Наука»,
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
